ВЕЛИКИЙ ГРАБЁЖ

ТОМ II – ЕГИПЕТСКАЯ КАМПАНИЯ



РОБЕРТ КАЗАНОВАС

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



АННОТАЦИЯ

Великий грабёж, Том II – Египетская кампания (1798–1801)

Второй том исторической саги в четырёх томах, посвящённой наполеоновским грабежам. Роман рассказывает о самом эффектном из великих грабежей — Египетской экспедиции.

19 мая 1798 года из Тулона выходят в море триста кораблей. На борту — армия из сорока тысяч солдат и ста шестидесяти семи учёных. Место назначения засекречено. Миссия же секретна лишь для публики.

Бертолле в личных записях называет это предприятие *«операцией по приобретению»*. Бонапарт же говорит: *«научная экспедиция»*. Это два названия одной реальности, за которой роман следует шаг за шагом — от взятия Мальты до берегов Нила и до парижских мастерских, где родится *«Описание Египта»*.

Сквозь записные книжки Денона, теодолиты Жомара, банки Жоффруа Сент-Илера и умолчания Бертолле раскрывается скрытый механизм просвещённого грабежа: красота учёного жеста и насилие грабежа, которое она скрывает. А на полях Хасан ибн Юсуф — переводчик, свидетель, память — записывает то, о чём люди науки не пишут.

В конце пути остаётся вопрос без ответа: в чём разница между тем, чтобы увезти вещь, и тем, чтобы увезти её образ? Розеттский камень — в Лондоне. Оттиски — в Париже. А Египет остаётся на берегу своей реки.

ОБ АВТОРЕ

Роберт Казановас, ранее опубликовавший романы *«Украденная комната»*, *«Завещание было подделкой»* и *«Грабёж»*, — почётный профессор-агреже, член Общества литераторов Франции. Юрист, увлечённый историей художественных собраний, он многие годы посвятил изучению присвоения произведений искусства государствами. Как президент НПО International Restitutions, он подготовил множество научных работ по этой теме.

ISBN 9782488999724

Великий грабёж
Исторический роман в четырёх томах
Роберт Казановас
casanovas@hotmail.com
Обязательный экземпляр, апрель 2026 г. — электронная книга и бумажное издание
© 2026 Казановас. Все права защищены
ISBN : 978-2-488999-72-4
www.international-restitutions.org

Обложка : Репродукция Розеттского камня в натуральную величину, помещённая в оптический театр, Музей Шампольона в Вифе (Изер, Франция) 17 июля 2022 года – Жюльен Пейтар



Русская версия
Том II
1798–1801 — Кампания в Египте
Окончательное издание, пересмотренное и исправленное

Другие книги автора :
«Украденная комната» (исторический роман)
«Завещание было подделкой» (исторический роман)
«Грабёж» (исторический роман)
«Великий грабёж. Том I — Рождение системы» (исторический роман)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот роман — историческая проза, основанная на подлинных исследованиях. Все упомянутые произведения действительно были изъяты во время французских завоеваний между 1794 и 1813 годами.

Большинство персонажей существовали на самом деле.

Ход событий воспроизводит подлинные и проверенные факты.

В интересах повествования некоторые персонажи, сцены и диалоги могли быть вымышлены.

Оригинал романа, написанный по-французски, был переведён на несколько иностранных языков. Переводные версии могут содержать языковые ошибки, смысловые ошибки или неточности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том II

Глава I : Восток под ружьём

Глава II : Подъём по Нилу

Глава III : Время учёных

Глава IV : Крушение и возвращение

ВЕЛИКИЙ ГРАБЁЖ

Исторический роман в 4 томах

ТОМ II – ЕГИПЕТСКАЯ КАМПАНИЯ (1798–1801)

ГЛАВА I : ВОСТОК ПОД РУЖЬЁМ

I – От Тулона до Мальты

Утром 19 мая 1798 года Клод-Луи Бертолле поднял на тулонской набережной обрывок просмоленного каната и поднёс его к носу. Вокруг него более трёхсот кораблей готовились сниматься с якоря в грохоте цепей и криках команд.

Канат пах скандинавским сосновым дёгтем, средиземноморской солью и, мягче, растительной смолой, которую он не сразу опознал, — должно быть, хиосской мастикой. Он убрал канат в карман, чтобы проанализировать его на борту. Набережная дрожала под ногами. Этот запах напоминал ему о *Bel Paese*.

В 1796 году Бонапарт послал его в Италию вместе с Гаспаром Монжем, чтобы отобрать в собраниях итальянских князей то, что заслуживало отправки в Лувр. Они объехали дворцы Милана, Болоньи, Рима, записывая названия и размеры. Затем картины путешествовали в ящиках, каждая в отдельной раме, завёрнутая в одеяла. Некоторые прибыли повреждёнными. Другие — нет.

Эта экспедиция сделает то же, что и в Италии, только в большем масштабе. То, что Бонапарт называл научной экспедицией, Бертолле в своих личных заметках называл — точнее — операцией по приобретению.

Разница заключалась в Египте. В Италии были коллекционеры, рынки, цены. В Египте были гробницы, запечатанные три тысячелетия назад.

На палубе *«Ориента»*, флагманского корабля в сто двадцать орудий, Бонапарт наблюдал, как флот приходит в движение. Куда он направляется, люди ещё не знали.

Монж чертил уравнения на обложке записной книжки, пока корабли маневрировали. Он не смотрел ни на набережную, ни на что-либо другое, что нельзя было вычислить. Грифель скрипел по картону.

Ниже, в твиндеке С, Эдм-Франсуа Жомар натягивал бечёвку между двумя блоками, чтобы измерить длину коридора. Двадцатилетний выпускник первого набора Политехнической школы, он впервые покидал Францию. Бечёвка показала три метра шестьдесят два. Он сосчитал шпангоуты, вдоль которых шёл коридор, соотнёс своё измерение с расстоянием между ними и вывел оценку длины корабля с точностью до нескольких метров. Никто его об этом не просил.

Жозеф Фурье, тридцатилетний математик, устроился в каюте верхней палубы со стопкой мемуаров об алгебраических уравнениях, которую так и не открыл за всё плавание. Решиться на отплытие его заставила перспектива измерить целую цивилизацию. Практики в полевой науке у него не было никакой.

Доминик-Виван Денон, писатель и дипломат, разместился на фрегате *«Юнона»*, который вместе с двумя другими фрегатами шёл во главе эскадры. Он долго созерцал пустой горизонт.

В тесной каюте он в третий раз с момента посадки на корабль раскладывал своё снаряжение. Сначала альбомы для набросков, рассортированные по формату. Угольные карандаши в кожаном футляре. Перья, чёрные и бистровые

чернила, кисти разной толщины в холщовом свёртке. Этот порядок он знал наизусть — каждому инструменту своё место, — как грамматик знает свой язык, и, раскладывая всё заново, он чувствовал, что хоть что-то держит в руках. У Египта в его представлении по-прежнему не было формы. У его снаряжения она была. Если всё остальное пойдёт вкривь и вкось, у него по крайней мере угольные карандаши будут в порядке.

Бонапарт нанял его письмом в десять строк. *Вы будете рисовать памятники.* Ему этого хватило. Он согласился, не спросив ни куда, ни когда, ни в каких условиях.

Флот несколько часов выходил с рейда. На берегу ещё махали платками, когда первые паруса обогнули мыс. Денон смотрел, как удаляется берег.

— Вам страшно? — спросил его один из офицеров *«Юноны»*.

— Страшно? Нет, сударь. Мне не терпится. Это совсем не одно и то же.

Пока корабли выходили в открытое море, он рисовал берега и острова в утреннем свете. Этот набросок спустя годы войдёт в число гравюр первого издания его *«Путешествия»*.

Шесть недель отделяли Тулон от Египта, с остановкой на Мальте. Флот пересёк Средиземное море, сохраняя относительную тишину, и избежал Нельсона столько же по везению, сколько по дисциплине.

Первые дни море было спокойным. Учёные заполонили палубы со своими приборами, записывая направление ветров. Жомар вычислял скорость флота, считая узлы. Натуралисты ловили сетью образцы. Альбомы Денона заполнялись надутыми парусами, тёмными корпусами, отблесками на воде. Море ему удавалось не так хорошо, как памятники, но он пробовал.

Бонапарт же проводил дни за чтением. Он взял с собой тщательно подобранную походную библиотеку. Походы

Александра, комментарии Цезаря, историю Полибия, рассказы арабских путешественников о Египте. Читал он быстро, загибая страницы, делая на полях пометки убористым почерком. Однажды утром Монж застал его за перечитыванием «Путешествия» Вольнея в Сирию и Египет, опубликованного одиннадцатью годами раньше.

— Вольней пессимист, — сказал Бонапарт, не поднимая глаз. — Он увидел один лишь упадок. Мы увидим истоки.

Бонапарт закрыл книгу и положил её на колени. Монж знал эту черту. Бонапарт читал не для того, чтобы ему возражали, — он искал прецеденты тому, что уже решил сделать. Монж не стал настаивать.

Библиотека *«Ориента»* заменяла целое учреждение. Бонапарт устроил из неё маленькую плавучую академию, с вечерними чтениями вслух и спорами о древней истории Египта. За столом в большой каюте собирались главные учёные и офицеры, имевшие вкус к словесности. Читали Геродота, обсуждали Фукидида и нередко, далеко за полночь, заканчивали причинами падения Рима. Бонапарт председательствовал и часто вмешивался, обнаруживая историческую культуру, которая изумляла профессоров Института.

— Почему гибнут цивилизации, мне безразлично. Почему они длятся — вот что я хочу понять. Египет продержался три тысячи лет. Что удерживает государство на протяжении трёх тысячелетий?

Фурье выдвинул гипотезу о регулярности разливов Нила и предсказуемости урожаев. Он любил исторические примеры, потому что они придавали абстрактным идеям вес длительности. Тысячелетия регулярных разливов стоили доказательства, которого одна математика дать не могла. Он видел здесь цивилизацию, решившую задачи ирригации, архитектуры, астрономии задолго до алгебры, которую он преподавал своим студентам. Говорил он об этом скорее

цифрами, чем словами. Бертолле заговорил о концентрации власти в центральной администрации. Денон, приглашённый в тот вечер на борт *«Ориента»*, признался, что ничего об этом не знает и рассчитывает, что ответ подскажут ему памятники.

Бонапарт наклонился к Бертолле.

— В Италии мы вели переговоры с князьями. Здесь князей нет. Гробницы, памятники, на которые никто не предъявляет прав. У того, что мы возьмём, давно нет живого владельца. Это существенная разница.

— Отсутствие живого владельца, генерал, никогда не означало отсутствия владельца.

Бертолле сказал это вполголоса, а Бонапарт уже взялся за книгу. Со времён Венеции, со времён Милана Бертолле знал, что слово верное и слово действенное не всегда совпадают. Такова была цена экспедиции, принятая им, когда он поднимался на борт *«Ориента»*. Он ещё некоторое время не сводил глаз с коптящего пламени лампы.

На десятый день погода переменилась. Северо-западный ветер заставил флот изменить курс. Корабли рассеялись, прежде чем вновь собраться под командованием адмирала Брюэса. Солдаты заболевали. Несколько учёных тоже, в том числе Монж, который два дня пролежал на койке, бледный, с тазом под рукой, впервые за многие годы не в силах открыть книгу. Он не жаловался. Он ждал, когда его тело соизволит вернуться к работе, и те, кто его знал, понимали, что это молчание не было безмятежностью.

Денон продолжал рисовать с палубы, не подверженный морской болезни. Море было такого синего цвета, какого он никогда не видел в живописи, — яростного, не имевшего ничего общего с морскими пейзажами Клода Лоррена. Чтобы передать его, нужно было писать море иначе. Он не знал никого, кто бы это сделал.

11

Вопрос о цели похода долго оставался без ответа.

Бонапарт раздал офицерам запечатанные предписания, которые надлежало вскрыть лишь в море. Солдаты строили догадки. Слышались самые разные названия. Англия, Португалия, Ирландия, Антильские острова, Мальта, Индия. Самые осведомлённые шептали «Египет», но это слово казалось таким далёким, что немногие осмеливались в него верить.

Несколько дней спустя Бонапарт дал понять высшим офицерам цель похода, которую воззвание ко всей армии официально объявит лишь 22 июня, после Мальты. Египет. Африканский берег Средиземного моря. Нил, пирамиды, пустыни, руины Фив и Мемфиса. Слух быстро разошёлся среди учёных. Бертолле тотчас задумался о водах Нила и о египетском натроне. Монж, всё ещё бледный, сказал, что больше всего надеется найти питьевую воду. Жомар ни о чём не спросил. Он предпочитал заранее знать, что ему предстоит увидеть, и два часа просидел запершись в каюте, перечитывая свои заметки о древних оросительных системах.

Денон достал Геродота из мешка. Книга сама раскрылась на упоминании пирамид. Он пробежал описание озера Мерида, лабиринта в Хаваре, пирамид Гизы, увиденных греческим путешественником за пять веков до нашей эры. Две тысячи триста лет отделяли Геродота от этого мгновения. Пирамиды же всё ещё стояли. Денон закрыл книгу, не отметив страницу.

Пройдя на безопасном расстоянии вдоль берегов Сицилии, эскадра взяла курс на юго-восток. Солнце вставало раньше, садилось позже, и жара усиливалась. Для многих солдат, никогда не покидавших севера Франции, это море уже было краем известного мира. Облокотившись на раскалённые фальшборты, они смотрели на горизонт с тревожным любопытством.

12

Ночь восемнадцатого дня была самой ясной за всё плавание. Воздух хранил дневное тепло и пах смолой и солью. Ни облачка. Луна в последней четверти, поднявшаяся недавно, ложилась на воду холодным и точным светом. Белые паруса фрегатов блестели, как влажная бумага. Чёрные корпуса линейных кораблей отбрасывали на спокойную воду резкие тени. Волн почти не было слышно — лишь медленный скрип мачт, глухое хлопанье парусов, искавших ветер, — да откуда-то издалека доносился человеческий голос или крик ночной птицы.

Около полуночи шлюпка с *«Ориента»* подошла к борту *«Юноны»*. Бонапарт привык к таким ночным обходам, в одиночестве или почти в одиночестве, пока его офицеры спали, и порой наведывался на фрегаты авангарда. Он подошёл к Денону, облокотился на фальшборт и долго молчал.

— Вы рисуете лучше ночью, чем днём.

— Ночь убирает ненужные детали. Остаются только формы. Так честнее. Там… — он поискал слово, — там ничего нового, всё уже было увидено. А нарисовано точно? Ничего. Геродот описывает пирамиды, не снимая с них мерок. Страбон упоминает их, не понимая. Я же хотел бы привезти изображения, про которые никто не сможет сказать, что они приблизительны.

Бонапарт не ответил. Такой образ мыслей был ему понятен. Вдали, по левому борту, виднелась тёмная полоса, которая могла быть сицилийским берегом или низкой грядой облаков. Ни тот, ни другой не спросил вахтенного офицера, что это.

В ту же ночь, в нескольких днях пути к западу, эскадра Нельсона искала французский флот, не зная, где он находится. Если бы ветры дули иначе, всё, что Денон увезёт в своих блокнотах, пошло бы ко дну вместе с кораблями.

13

9 июня, после трёх недель плавания, французские корабли появились перед Валлеттой.

Остров Мальта, с 1530 года находившийся во владении Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, охранял вход в восточную часть Средиземного моря своими укреплениями, считавшимися неприступными.

Бонапарт созвал своих главных генералов и учёных перед крепостными стенами.

— Эти стены выдержали натиск сорока тысяч турок в 1565 году. Но рыцари, которые защищают их сегодня, стары, разобщены и без средств. Осада нам не понадобится. Достаточно будет высадиться.

Генерал Луи Дезе, офицер с аскетическим профилем, командовавший одной из дивизий армии, вмешался.

— Генерал, эти раздоры в Ордене — надёжны ли ваши сведения?

— Разделены на враждующие фракции. Великий магистр слаб. Они не станут сражаться. Скоро мы войдём.

Монж счёл нужным задать вопрос.

— Генерал… Мальта не воюет с Францией. Орден суверенен, признан веками. Папа, католические державы… Какое оправдание вы приведёте?

— Монж, дорогой друг, ты математик. Подсчитай, сколько мы сможем продержаться в Египте, если англичане перекроют наши пути. Мальта — это засов. А что до дипломатического оправдания, это не твоя забота. Мой адъютант этим займётся.

Монж замолчал. Он только что узнал, где проходит граница.

Высадка произошла одновременно в нескольких пунктах острова и застала защитников врасплох. Сопротивление длилось два дня. Мальта капитулировала 12 июня.

Опись обнаружила ошеломляющее количество драгоценных металлов — достаточно, чтобы финансировать несколько месяцев кампании. Денон, сумевший сойти на берег 14 июня, прошёл по большому залу сокровищницы, где комиссары описывали содержимое ящик за ящиком.

Богатство Ордена было прежде всего денежным — серебряные слитки, золотые монеты, церковная утварь из драгоценных металлов. Несколько миллионов франков по оценке Бертолле.

Но то, что задержало внимание Денона, было в другом месте. В ризнице собора Святого Иоанна солдаты снимали со стен картины. Свод нефа — монументальный цикл Маттиа Прети о жизни святого Иоанна Крестителя, написанный прямо по камню между 1661 и 1666 годами, — взять было невозможно. Слишком велик, слишком неподвижен. Его оставляли. Станковые же картины брали.

Он опознал несколько полотен, портреты великих магистров Ордена и большое *«Воскрешение Лазаря»* неаполитанской школы, которое скатывали в рулон без всяких предосторожностей.

Денон заметил и то, чего не брали. В молельне собора находилось *«Усекновение главы Иоанна Крестителя»*, самое большое полотно Караваджо, три метра шестьдесят на пять метров двадцать чёрной и красной бури. Палач склоняется над обезглавленным телом, чья кровь образует лужу. В этой крови художник начертал свою подпись, *f. Michelangelo*. Единственное полотно, которое он когда-либо подписал.

Солдат подошёл, чтобы прикинуть, можно ли снять картину. Денон положил руку ему на предплечье.

— Эта не уедет. Она написана для этой стены. Она погибла бы на корабле.

Солдат с минуту смотрел на Денона, потом на полотно, затем пожал плечами и пошёл искать в другом месте. Картина осталась.

Он записал в блокнот размеры, сюжет, подпись и остался перед полотном, ничего не записывая. У этой картины было редкое свойство : она рассматривала зрителя в ответ. Палач, склонившийся над мёртвым, или тюремщик, поворачивающий голову, словно спрашивал того, кто наблюдал сцену, — а ты, что ты уносишь с собой?

Золотые и серебряные изделия из Госпиталя Ордена — столовые тазы, подсвечники, дароносицы — были изъяты целиком. В мальтийском госпитале были мраморные полы, гобелены, столовое серебро, которое считалось уникальным в Европе. Оно пойдёт в переплавку на слитки. Больные, которые сюда поступят, будут есть из оловянных мисок.

Каждое завоевание оплачивало следующее — всё тот же механизм, подумал он, глядя, как подсвечник переходит из рук в руки.

Была там и *«Индийская серия»* — шпалеры, сотканные на мануфактуре Гобеленов по картонам, вдохновлённым картинами, привезёнными из Бразилии принцем Иоганном Морицем Нассау-Зигенским, — слоны, попугаи, тропические крепости, придворные сцены, краски которых ещё не потускнели. Король Франции подарил Ордену то, что армия Франции на этот раз оставит на месте.

Он отметил размеры. Два метра пятьдесят в высоту, около пяти метров в ширину у самых больших. Шерсть и шёлк. Их можно было свернуть. Никто их не сворачивал. У солдат не хватило на это времени, или они не поняли их ценности.

— Оставьте шпалеры, — сказал Денон унтер-офицеру, руководившему описью. — Они из Франции, Людовик XIV подарил их Ордену.

16

Снаружи грузили ящики на шлюпки. Золото, серебро, отобранные картины. Библиотека Ордена, тысячи томов на латыни, по-французски, по-арабски, по-турецки, почти целиком останется на полках. Не было места. Не было времени. Солдаты Революции грабили быстро. Учёные подбирали за ними то, что оставалось.

Там были инкунабулы, средневековые рукописи, трактаты по навигации и картографии, накапливавшиеся с двенадцатого века. Солдаты не знали, что делать с книгами. Сержант спросил, стоит ли это чего-нибудь. Денон ответил, что да, некоторые стоят. Сержант заметил, что у него нет ящиков. Денон нашёл два и сам уложил в них самые древние рукописи. Около сотни томов, выбранных по наитию, без каталога, лишь потому, что пергамент казался желтее прочих. Остальное было оставлено на полках.

Там оно и останется. После ухода французов библиотека Ордена станет публичной библиотекой Мальты.

«Фландрия была обобрана методично, Италия — со знанием дела, Мальта — наспех. Каждая кампания грабила сообразно наличному времени и людям. Египет будет чем-то иным. Не город, который нужно опустошить за три дня, а страна, которую предстоит пересекать месяцами. Грабёж здесь будет медленным». Бертолле записал это в своих наблюдениях, глядя, как гружёные шлюпки удаляются к кораблям.

Флот поднял якорь вечером 19 июня. На палубе Денон смотрел, как удаляется Валлетта. Город светлого камня, крепостные стены, спускавшиеся к самому морю, барочные колокольни. Он уже знал, что больше не увидит Мальту. В трюмах громоздились ящики с золотом и серебром. В его блокнотах — укрепления, собор, порт.

Золото переплавят. Картины, свёрнутые в трюмах, никто не привезёт назад.

II – От Александрии до Нила

1 июля, после плавания, во время которого французы несколько раз избегали Нельсона, вахтенные заметили низкие берега Египта. Запах горячего песка и соли. Монж был на палубе с самого рассвета.

— Александрия. Евклид, Эратосфен, Птолемей. Семьсот тысяч сожжённых томов. Посмотрите, что от неё осталось! — воскликнул Бонапарт.

Монж вгляделся в берег.

— Я ожидал… ну, чего-то другого, генерал. Обветшалое местечко. Где храмы, дворцы? Великая библиотека?

Бонапарт улыбнулся.

— Исчезло. Римляне, византийцы, арабы, османы. Остались только камни. Вот почему мы здесь.

Высадка началась вечером при сильной зыби. Шлюпки доставляли солдат на отмели. Они прыгали в воду и брели к пляжу в жаркой темноте. Запах настиг их раньше, чем показались дома. Соль, нагретый камень, рыба, дым древнего города, который не ожидал, что его застанут врасплох.

Учёные высадились на следующий день, к исходу дня, когда город уже был взят. Александрия оказалась не такой, какой они знали её по книгам. Десять тысяч жителей, узкие улочки, дома из кирпича-сырца, которые осыпались.

Денон впервые ступил на египетскую землю и огляделся с разочарованием, которого не стал скрывать.

— Неужели это всё? Руины и лачуги?

Колонна Помпея возвышалась в пятистах метрах, одинокая на фоне песчаного неба. Двадцать семь метров красного асуанского гранита на постаменте из тёсаного камня. К Помпею она не имела никакого отношения. Её воздвигли

около 297 года нашей эры в честь императора Диоклетиана, после того как он подавил александрийский мятеж.

Ствол был монолитным — цельный блок высотой двадцать с половиной метров, почти триста тонн, отполированный пятнадцать веков назад и всё ещё гладкий на ощупь под слоем пыли. Коринфская капитель наверху потеряла несколько листьев аканта, но оставалась ясно различимой. Жомар обмерил колонну своими инструментами. Диаметр у основания — два метра семьдесят один; в верхних двух третях — около двух с половиной метров. Колонна слегка сужалась кверху. Мастера рассчитали оптическую иллюзию, благодаря которой ствол казался глазу стоящего внизу совершенно прямым. Расчёт всё ещё действовал.

В постаменте были разрозненные блоки с фрагментами иероглифических надписей, вероятно, вырванные из более древнего фараоновского храма. Римляне грабили храмы ради своих построек, арабы — римские постройки, османы — арабские. Сама колонна Помпея стояла на камнях, которые уже послужили где-то в другом месте.

Денон зарисовал колонну с трёх точек. Анфас, в три четверти, в профиль с севера. Монумент останется на месте, обречённый служить ориентиром для кораблей, входящих в порт. Его рисунок войдёт в таблицы *«Описания»* и отправится в Париж, в Лондон, в Вену.

Александрия разочаровывала, слишком много веков наслоилось в ней друг на друга. Учёные уже смотрели в сторону Нила.

Взятие города стоило французам около ста пятидесяти убитых и раненых. Клебер, раненный в голову, выжил. Бонапарт разместил свою главную квартиру во дворце османского губернатора и созвал знать, чтобы объяснить ей в прокламации, переведённой на арабский, что французская армия пришла освободить Египет от мамелюкской тирании

и покарать тех, кто оскорблял османского султана, друга Франции.

— Народы Египта, — провозглашал текст, — вам скажут, что я пришёл уничтожить вашу религию. Не верьте этому. Отвечайте, что я пришёл вернуть вам ваши права и покарать узурпаторов и что я больше, чем мамелюки, чту Бога, его Пророка и Коран. Мы тоже истинные мусульмане. Разве не мы уничтожили Папу, который говорил, что надо воевать с мусульманами? Разве не мы уничтожили рыцарей Мальты?

Пока Бонапарт налаживал управление Александрией, учёные приступали к первым работам. Денон искал следы птолемеевского величия. Нашёл он немногое — несколько блоков, вторично вложенных в кирпичные стены.

Денон провёл первую ночь без сна. Улицы продолжали шуметь ночной жизнью, какой он ещё никогда не слышал. Голоса на арабском, бродячие собаки, плеск фонтана в невидимом дворе, призывы к молитве, которые ещё до рассвета разносились с минаретов. Он устроился у окна с блокнотом и рисовал то, чего не видел, и слух направлял его руку. Линии выходили неуверенными. Он позволил им быть такими.

На следующее утро он вышел с Жомаром в город. Тот нёс свой теодолит и делал замеры на каждом перекрёстке. Денон зарисовывал фасады, лица на базарах, верблюда, лежащего в пыли, стайку детей, которые смотрели на проходивших солдат с любопытством и недоверием. Ни тот, ни другой не говорил по-арабски. С жителями объяснялись жестами и деньгами.

— Посмотрите на эту дверь, — сказал Денон, не отрывая карандаша от геометрического узора резного дерева. — Ничто здесь не принадлежит одной эпохе. Слои, тысячи лет слоёв, и ни один не стёр до конца предыдущий.

— Что усложняет обмеры, — сказал Жомар. — Древний гранитный блок в стене дома восемнадцатого века… как мне его датировать? По блоку или по стене?

— По обоим, мой дорогой. В этом и скука, и прелесть.

Рыбный рынок открыл Этьену Жоффруа Сент-Илеру, молодому натуралисту, члену Комиссии по наукам, десяток средиземноморских видов, которых он нигде ещё не видел в виде образцов. Он купил несколько рыб, названий которых не знал, бережно уложил их в соль и велел отнести к себе на квартиру, чтобы вечером препарировать. Соседи по комнате жаловались на запах. Он ответил со скальпелем в руке, что невежество пахнет хуже.

Бертолле, со своей стороны, заинтересовался красителями на рынке. Ткани, выставленные торговцами, поражали оттенками, которых он не узнавал. Очень глубокие индиго, красные, не имевшие тона марены, жёлтые с оттенком шафрана. Он отобрал образцы окрашенных волокон, завернул их в бумагу и снабдил этикетками.

Бонапарту же было не до прогулок.

Нужно было организовать гарнизон, наладить отношения с местными властями, решить вопросы снабжения, подготовить поход на Каир. Он принимал знать, сидя в кресле, которое велел доставить со своего корабля, в окружении адъютантов. Они предстали перед ним с осторожностью людей, которые по-прежнему не знают, останутся ли новоприбывшие.

Армия тоже готовилась. Солдаты наполняли фляги, навьючивали мулов, проверяли боеприпасы. Были наняты египетские проводники. Люди, знавшие дорогу через пустыню и места водопоя. Они наблюдали за этими приготовлениями с фатализмом. Они повидали немало войск, прошедших по этому коридору между морем и пустыней.

21

Бонапарт смотрел на пустыню. С террасы дворца, где жили учёные, на юге была видна чёткая линия, на которой город кончался и начинался песок. Прямая линия. С одной стороны — дома, сады, пальмы, издавна упорядоченное человеческое присутствие. С другой — ничего. Однородная ширь до самого горизонта, без тени, без единого изменения цвета.

Шестого июля Бонапарт отдал приказ выступать. Двести двадцать километров отделяли побережье от Каира. Между ними простиралась пустыня, и никто не сказал этого учёным прямо.

Сорок градусов в тени уже с первого часа. Ни капли воды между колодцами. Солдаты умирали на ходу, так и не увидев врага. Умирали не сразу. Останавливались. Падали на колени. Больше не вставали. Колонны шли дальше. Никто не нарушил шага, чтобы остаться с упавшим.

Бонапарт часто шёл пешком, как его солдаты, параллельными колоннами через пустыню. Учёные, не приспособленные к такому, тянулись следом как могли. Некоторые теряли сознание. Денон рисовал пейзажи на ходу.

Монж шатался, опираясь на самодельный посох. Бонапарт, увидев его в таком состоянии, приказал дать ему воды из собственного запаса.

— Пей, Монж, — сказал Бонапарт, протягивая ему флягу. — Пей. Ты должен пережить этот поход.

Монж сделал несколько глотков тёплой воды с металлическим привкусом. Он чуть не сказал «спасибо» и удержался. Генерала не благодарили за глоток воды так, как благодарят друга. Он вернул флягу. Бонапарт уже смотрел в другую сторону.

— У всех великих предприятий свои испытания, — продолжил Бонапарт. — Александр восемь лет шёл до

Индии. Марко Поло двадцать четыре года не был в Венеции. Мы выдержим.

Колонны продвигались по местности, где почти ничего не росло. Несколько колючих кустов. Время от времени деревня из кирпича-сырца. Феллахи, провожавшие армию взглядом от своих дверей. Жара была не похожа ни на что из знакомого солдатам. Она шла от земли не меньше, чем с неба. Фляги пустели. Их наполняли у колодцев, когда те попадались. Вода отдавала землёй и солью, но никто не жаловался.

На четвёртый день около полудня по колоннам пробежал гул. Солдаты подняли головы. Впереди, за дрожащей от жара чертой, на горизонте обозначалась зелёная полоса. Нил. Кое-кто бросился бежать. Офицеры их не удерживали. Они тоже побежали.

Когда первые ряды достигли берега, люди упали на колени в воду, даже не сняв ранцев. Они пили, умывали лица, стояли неподвижно в течении, словно отказываясь выходить. Позади них колонны продолжали прибывать, поднимая облака пыли, которые оседали на воду.

Денон расположился на берегу со своими угольными карандашами. Перед ним простирались широкая водная гладь, сверкающая под июльским солнцем, плодородная полоса в несколько километров насыщенной зелени, а затем пустыня, начинавшаяся ровно там, где кончалось орошение.

— Ах, Жомар, — сказал Денон молодому инженеру-географу, опустившемуся рядом с ним на землю. — Вот наконец настоящий Египет.

— Прежде всего эта линия, — сказал Жомар, приложив ладонь козырьком ко лбу. — Пальмы, посевы, а потом пустыня. В нескольких километрах от берега. Словно проведена по шнуру.

Всё зависело от реки. Египет был лишь водным коридором на материке из песка.

Питьевая вода теперь была в достатке. Армия набиралась сил, учёные брались за свои инструменты. Жомар разворачивал свою градуированную линейку, Монж чертил уравнения на разрозненных листах, Денон открывал альбом для набросков. Инженеры изучали оросительные системы. Сакии, шадуфы, распределительные каналы. Нильская вода, поднимаемая силой быков или человеческих рук к полям, лежащим на несколько метров выше, приёмами, не изменившимися со времён фараонов и применявшимися до сих пор. Ботаники собирали финиковые пальмы, сикоморы, лотосы, папирус и ароматические растения, неизвестные в Европе. Жоффруа набивал чучела птиц — ибисов, цапель — и наполнял ящики. Фауна Нила открывалась ему — с крокодилами на берегах, ставшими редкими гиппопотамами, тысячами перелётных птиц.

— Ибисы, — бросил Жоффруа Бертолле, указав на них подбородком. — Египтяне их мумифицировали. Они сделали из ибиса бога Тота, мудрость, письменность. Птица, которую видишь каждое утро на берегу Нила.

— Поклоняться птице, мой дорогой Жоффруа… Верх суеверия. Просвещение, мне кажется, это исправило.

Жоффруа не ответил. Он думал, что почитание ибиса, вероятно, было не чистым суеверием, а формой, какую принимало в данной цивилизации строгое наблюдение природы. Египтяне заметили, что ибис появляется с разливами Нила. Они сделали из него бога. Натуралисты восемнадцатого века замечали то же самое и превращали это в уравнения — другой язык для того же внимания. Он оставил это сравнение при себе и вернулся к своим птицам.

Денон начал покупать с первого же месяца. Коллегам он об этом не говорил. Фурье, Монж, Бертолле так и не решили

для себя — научный сбор или личное присвоение, — и никто не задавал этот вопрос вслух.

Позже, в месяцы, последовавшие за вступлением армии в Каир 24 июля, в Саккаре возник рынок — как только французские солдаты показали, что покупают. Феллахи из соседних деревень приносили всё, что находили на полях и в гробницах. *Ушебти* десятками, скарабеи сотнями, обрывки папирусов, амулеты, птолемеевские монеты, зелёные от патины. Денон приходил по утрам, пока жара ещё не делала ходьбу изнурительной. Он медленно шёл между наспех устроенными прилавками, тростниковыми циновками, брошенными на землю, с разложенными на них предметами. Присаживался на корточки. Взвешивал в руке. Смотрел. Его останавливало не всегда то, что было самым древним или самым эффектным. Деревянный *ушебти* с росписью, погребальная фигурка в пятнадцать сантиметров, руки скрещены на груди в позе Осириса, лицо неподвижное, жреческое, голубой парик с тонко прочерченными золотыми линиями. В лице была тихая точность придворных портретов. Кто-то смотрел на него, кто-то хотел, чтобы его узнали в ином мире. Этот *ушебти* сопровождал мертвеца тридцать веков в запечатанной погребальной камере. Теперь он лежал здесь, на тростниковой циновке, в Саккаре, под солнцем. *Ушебти* завернули в тряпицу, и Денон положил его в свою сумку.

Феллах, разложивший его здесь, произнёс фразу. Денон не понял. Он повернулся к Хасану, переводчику, которого ему назначила Комиссия. Хасан выслушал, посмотрел себе под ноги, потом тихо перевёл.

— Он говорит, что это гробница его предка.

В тот вечер Хасан один вернулся на бивак. Он прошёл вдоль пустеющего рынка, торговцы растворились в вечерней пыли вместе со своими пиастрами. Он остановился там, где феллах разложил свои предметы. Циновка всё ещё лежала.

Вмятина в песке отмечала место, где покоился *ушебти*. Переводчиком он был уже четыре года, переводил торговцев, нотариусов, османских офицеров, теперь французских учёных. Он усвоил, что переводить — значит выбирать между словами, которые никогда не совпадают точно. Фразу феллаха — гробница его предка — он перевёл точно. Чего он не перевёл, так это тон.

В следующие дни Денон сделал и другие приобретения.

Скарабеи. Один — из голубого фаянса, с картушем Тутмоса III, шестого фараона XVIII династии, выгравированным на плоской стороне с точностью, которую он проверил лупой. Шашечный узор, скарабей, солнечный диск. Три тысячи двести лет, и линия была цела. Второй — из чёрного стеатита, изображавший жука с тонко проработанными надкрыльями. Египтяне наблюдали, как скарабей катит свой шарик навоза к солнцу, и увидели в этом бога Хепри, толкающего солнце на заре. Они клали скарабеев в гробницы, на сердца умерших, чтобы обеспечить возрождение.

Амулеты. Глаз уджат из бирюзового фаянса, глаз Гора, вырванный Сетом в битве, а затем восстановленный. Три сантиметра, нарисованный зрачок, косметические линии, имитировавшие оперение сокола. Фигурка Тота с головой ибиса, из ляпис-лазури, — её писцы носили, чтобы калам оставался точным. Сехмет из тёмно-красного сердолика. Её носили, чтобы война и эпидемии вас не коснулись.

Денон купил также две канопы из алебастра — одна с крышкой в виде головы шакала, другая с крышкой в виде павиана, — хранительницы внутренностей умершего. Шестнадцать сантиметров в высоту, полупрозрачный алебастр пропускал медовый свет. Обрывки папирусов, покрытые иератическим письмом, приобретённые без понимания того, что в них сказано.

Что в них сказано, востоковеды узнают спустя годы. Формулы *Книги мёртвых*, защитные заклинания для перехода в иной мир. Сходный папирус, купленный в Фивах инженером Симонелем и позднее известный как папирус Кадэ, содержит фрагменты тридцати восьми глав, или формул, *Книги мёртвых*.

Папирус Кадэ поступит в Кабинет рукописей Национальной библиотеки под шифром *Египетский 1–19*.

Но в то утро в Саккаре Денон ещё ничего этого не знал. Что его останавливало, то он покупал. Рынок пустел. Жара нарастала. Завтра будут другие циновки, другие предметы, другие сделки, фразы из которых он запишет не все.

Однажды на рассвете у Жоффруа было двенадцать страниц заметок и одно убеждение. Нильский крокодил и южноамериканский кайман имели столь близкое костное строение, что оно не могло быть случайным. Это анатомическое сходство через тысячи километров и океан ставило вопрос, на который биология его времени не имела ответа.

Жоффруа пока никому об этом не говорил. Идея слишком противоречила тому, чему учили в Париже.

В ноябре, в Саккаре, Жоффруа попросит Денона показать ему изображения животных на барельефах. Они проведут полдня, сравнивая ибисов на росписях с живыми ибисами. Росписи и птицы будут походить друг на друга до совершенства, словно три тысячи лет ничего не изменили. Денон нарисует обоих рядом — живого и нарисованного мёртвого, — не зная, который больше похож на оригинал.

III – Битва у пирамид

Двадцать первого июля армия увидела пирамиды.

Треугольные силуэты вырисовывались на горизонте уже километров за десять. Солдаты остановились сами. Никто не отдавал приказа. Бонапарт верхом долго смотрел на них.

Потом повернулся к своим людям.

— Солдаты, с высоты этих пирамид на вас смотрят сорок веков.

Он, не понижая голоса, подал знак своим генералам.

— Генерал Бон, левая дивизия. Генерал Дезе, правая дивизия. Не двигаться. Пусть подходят.

Затем, тише, только для себя, лицом к пирамидам.

— Если уж так, пусть это будет победа.

Учёных отправили внутрь пехотных каре вместе с обозом и ранеными. Они оказались стиснуты между мулами и зарядными ящиками, на уровне плеч солдат последних рядов. Монж почти ничего не видел.

Оттуда всё происходило на уровне человеческого роста. Сдвигающиеся ноги, ружья, которые держали обеими руками, пот на затылках. Пыль, поднимавшаяся с юга. Мамелюкская конница, ещё невидимая, приближалась. Солдат слева от него бормотал по-эльзасски. Монж не понимал. Тона хватало. Он спросил себя, впервые со времён Тулона, что делает геометр здесь, между двумя мулами, пока мчится в атаку конница.

Гул пришёл раньше стука копыт — дрожь земли под подошвами. Потом первые ряды дали залп, и чёрный дым скрыл всё. Залпы следовали друг за другом в ровном ритме. В промежутках слышались крики — крики тех, кто падал с лошадей.

То, чего Монж не мог видеть изнутри каре, видели офицеры верхом. Мурад-бей расположил свои силы на юге, на равнине, простиравшейся между деревней Имбаба, укреплённой на берегу Нила, и пирамидами. Шесть тысяч

мамелюкских всадников, возможно семь тысяч, собранных в зыбкие построения. Ни линий, ни неподвижных рядов. Конница, растекавшаяся, как вода по неровной поверхности. Арабские кони, мельче французских, скакали группами по пятьдесят, по сто, меняя направление по сигналу предводителя, которого не было видно. За ними поднималась охристая пыль, пока не закрыла небо.

Бонапарт построил свои дивизии в пять больших каре. Двадцать пять тысяч человек из тридцати восьми тысяч, погрузившихся в Тулоне, расположенных в шесть рядов в глубину, со штыками наружу, офицеры внутри вместе с обозом. Это было теоретическое построение, которому учили в Военной школе и которое никогда не должно было уступить кавалерийской атаке. Никто в армии ещё ни разу не видел, чтобы шесть тысяч всадников атаковали одновременно.

Первая атака пришла с юго-востока. Около тысячи всадников, отделившихся от основной массы мамелюкской армии, ринулись прямо на каре Дезе. Не столько армия, сколько воинская аристократия верхом, где каждый всадник сражался за собственную славу, без общего порядка. Кривые сабли, пистолеты за поясом, карабины через плечо. Иные были в кольчугах, блестевших на солнце. Другие — в расшитых шёлковых халатах.

Они мчались во весь опор триста метров. Каре Дезе ждало. Двести пятьдесят метров. Офицеры кричали держать ряды. Двести метров. Ружья поднялись. Сто пятьдесят метров. Бонапарт со своей центральной позиции смотрел, не двигаясь. Сто метров. Расстояние, на котором пехотинец мог различить лицо атакующего всадника. Семьдесят пять метров. Приказ стрелять.

Первый залп поразил атаку в лоб. Пули били сначала по лошадям, более крупным, чем люди, затем по всадникам, которые падали вперёд или набок. На пятидесяти метрах

атака замедлилась. Она не остановилась — она раскрошилась. Лошади отказывались идти на штыки. Несколько одиночных всадников добрались до каре. Они били саблями по скрещённым ружьям, но не могли пробить шесть рядов в глубину. Второй залп сразил их в упор.

Уцелевшие отступили. Последовали другие атаки. Мурад-бей бросал эскадроны последовательными волнами, надеясь найти слабое место во французских построениях. Каждая волна разбивалась о ружья. Через час каре всё ещё стояли. Земля перед французскими позициями была усеяна мёртвыми лошадьми и ранеными всадниками. Пороховой дым стоял в неподвижном воздухе, образуя серый туман, скрывавший пирамиды на заднем плане.

Денон рисовал вслепую. Спины, ружья, дым, уголок пирамиды над головами. Затылок эльзасского солдата перед собой, ружья, которые поднимались и опускались, едкий дым. То, что происходило снаружи, — атаки, залпы, разбивавшие мамелюкские эскадроны, контратака французской кавалерии, — он не увидит. Он сохранит лишь дым, жару, пот и шум.

Бой длился уже больше часа, когда Бонапарт бросил дивизии Бона и Виаля на штурм укреплённого лагеря Имбаба на берегу Нила. Пехотные колонны двинулись в штыки — не столько чтобы преследовать противника, сколько чтобы нанести ему таранный удар, призванный сломить его сплочённость. Мамелюки, зажатые между колоннами и рекой, отступили. Некоторые утонули, пытаясь переправиться через неё верхом. Других перестреляли на берегах преследовавшие их французские пехотинцы.

Мурад-бей понял, что битва проиграна. Его всадники, великолепные поодиночке, ничего не могли поделать с дисциплинированной пехотой, твёрдо державшей позиции. Он отдал приказ об общем отступлении. Не прошло и двух часов с начала боя, как уцелевшие мамелюки уже скакали на

юг, оставляя поле битвы французам. Позади них оставались несколько тысяч убитых. Французские потери составили менее трёхсот убитых и раненых.

Денон нарисовал пирамиды, поместив на первый план мёртвых. Триумфальные полотна закажут позже.

Армия вновь двинулась в путь, и пирамиды вернулись. Не такими, какими явились утром, — далёкими силуэтами в пыли, — а вещами иной природы. По мере приближения они росли так, что это не имело ничего общего с обычной перспективой, и переставали быть сопоставимыми с чем бы то ни было известным. В двухстах метрах Денон понял, что всю жизнь воображал себе монументы человеческого масштаба. Эти пирамиды были возведены в масштабе представления строителей о том, что должно длиться. Они были огромны, бесстыдны в своих размерах. Ни одно европейское здание не шло с ними в сравнение.

Жомар, юный выпускник Политехнической школы, достал измерительные инструменты и приступил к первым замерам. Цифры, которые он записал в тот вечер, — длина основания, угол наклона граней, предполагаемая высота — были лишь наброском, к которому он методично вернётся в 1799 году, во время съёмки пирамид Гизы.

Денон посмотрел на пирамиды, а затем на армию, стоявшую лагерем у их подножия. Эти монументы весили миллионы тонн. Они никуда не денутся. Но предметы, которые они хранили, были совсем другим делом. Статуэтки, которые находили в гробницах, папирусы, фаянсовые скарабеи — всё это помещалось в походный ящик.

Ночь быстро опустилась на плато Гизы. Солдаты разожгли бивачные костры. Оранжевый свет пламени окрашивал красным основание камней. Денон стоял ещё долго после

того, как Жомар улёгся на своё одеяло, устремив открытые глаза в небо.

После полуночи он взял свои угольные карандаши и подошёл к Великой пирамиде. Часовые его не остановили. Их предупредили, что этот штатский с блокнотом ходит где вздумается и хлопот не доставляет. Он двинулся вдоль основания и нашёл угол, где луна прямо освещала западную грань. Блоки были выше человеческого роста. Взобравшись на два-три блока, он сел на четвёртый.

Камень был ещё тёплым. Не рассеянное тепло воздуха, а собственное, внутреннее тепло, словно известняковая масса впитала дневное солнце и медленно отдавала его ночи. Ладонь лежала плашмя. Более ста тридцати метров камня над ним, невидимых в темноте. Он видел лишь нижние ряды блоков, уходившие вверх, во мрак.

Денон попытался рисовать. Луна давала достаточно света, чтобы различить швы между рядами, лёгкую неровность поверхностей, обработанных вручную, глубокую тень щелей. Линия горизонта, проведённая там, где пирамида рассекала небо, последовательные ряды блоков, поднимавшиеся уступами. Это было проще дневного рисунка — перед блокнотом не было дыма.

Жомар нашёл его там около часу ночи. Он взобрался на соседний блок, рассмотрел набросок в блокноте, потом пирамиду, потом снова блокнот. Наконец Денон заговорил.

— Выигранное сражение, а через тысячу лет… Мурад-бей, бегущий на юг, — кто об этом узнает? Посмотрите на неё. Она видела сто таких сражений, как наше. Она их не считает.

— Это запишут наши блокноты, — сказал Жомар. — Что, строго говоря, не одно и то же, что помнить.

— Блокноты. И пирамиды. Вот что остаётся от побед, мой дорогой.

Жомар ответил не сразу. Он искал глазами вершину, которой не было видно.

— Сегодня вечером я подсчитал, что Великая пирамида содержит около двух миллионов трёхсот тысяч блоков. Если бы рабочие трудились по десять часов в день, триста шестьдесят пять дней в году в течение двадцати лет, то им пришлось бы укладывать по блоку примерно каждые две минуты, без перерыва. Ни передышки. Ни ошибки. Два миллиона раз. Меня смущает то, что расчёт сходится. Они сделали ровно то, что собирались сделать.

Вдали на равнине мерцали бивачные костры солдат. Где-то на северо-востоке спал Каир.

Денон в последний раз посмотрел на набросок. Линия пирамиды на фоне ночного неба, простая, абсолютная. Никогда ещё он не рисовал ничего, что так трудно было бы испортить.

Жомар встал, отряхнул пыль с брюк и поднялся обратно к лагерю.

На следующее утро Жомар вошёл в Великую пирамиду вместе с Монжем и Денoном. Они проникли внутрь по ходу, пробитому в IX веке халифом аль-Мамуном. Туннель в кладке, такой узкий, что приходилось идти согнувшись пополам, с чадящими факелами в руках. Вчерашний жар покинул плато. Камень был холодным.

В восходящем коридоре они встретили солдата, спускавшегося навстречу. Молодой, лет восемнадцати, с факелом в левой руке, правая сжата в кулак. Он прижался к стене, чтобы дать им пройти. Жомар заметил, что держала правая рука. Скарабей из голубого фаянса, величиной с грецкий орех, найденный в боковой нише. Солдат взглянул на скарабея. Жомар тоже. Ни один не сказал ни слова. Статуэтки Денон позднее увезёт в собственном багаже. Между карманом солдата и ящиками учёных, как уже

предчувствовал Жомар, разница будет лишь в степени. Солдат двинулся к выходу, по-прежнему сжимая правую руку.

Великая галерея остановила их на месте. Сорок семь метров в длину, восемь с половиной метров в высоту, стены из полированного известняка поднимались ступенчатым напуском к своду. Коридор продолжался под углом двадцать шесть градусов к Царской камере. Свет поднятого факела не доходил до вершины, и видны были лишь две стены, сходившиеся во тьме.

— Вы только посмотрите, — сказал Монж, задрав голову к стенам. — Римляне строят своды, египтяне — ступенчатые перекрытия — та же задача, друзья мои, та же самая! И они не знали друг друга.

— С разницей в несколько тысячелетий, — ответил Денон. — Этот коридор на две тысячи семьсот лет старше римского Пантеона.

Монж шёл вперёд, считая шаги. Он захватил с собой размеченную верёвку, которую разматывал за собой, записывая точную длину при каждой перемене направления. Денон держал пузырьковый уровень.

В Царской камере они сделали остановку. Пустой саркофаг занимал западную половину камеры. Монолитный чан без крышки, без надписи и украшений. Кто-то в неопределённую эпоху отбил северо-восточный угол. Грабители не оставили ничего другого.

Жомар обмерил помещение по трём измерениям. Длина — десять метров пятьдесят. Ширина — пять метров двадцать. Высота — пять метров восемьдесят. Записав цифры, он проверил их и записал ещё раз. Затем вычислил отношение длины к ширине. Близкое к двум к одному. Близкое к двойному квадрату.

— Смотрите. Два к одному, почти точно. В случайность я не очень верю. Геометрия пропорций, которую мы открываем заново… Они её не записали. Они её построили.

Сидя на краю пустого саркофага, Монж зарисовывал помещение при свете факела. Этот саркофаг что-то содержал. Или, быть может, ничего. Быть может, он всегда был пуст. Вероятно, гробницей была сама камера, а не каменный ларь. Никто не знал. Ни один иероглиф не украшал стен, чтобы сказать об этом. А будь они там, их всё равно не сумели бы прочесть.

Они вышли на поверхность через два часа. Утреннее солнце било по плато Гизы. Монж опустился на известняковый блок и на мгновение закрыл глаза. Он думал о комнате внизу, о её абсолютной тишине, её совершенной темноте, о пустом саркофаге, веками ждавшем там, чтобы кто-нибудь пришёл и возложил на него руки. Когда он открыл глаза, свет заставил его поморщиться.

Жомар открыл блокнот. Под цифрами Царской камеры, менее убористым почерком, он добавил три фразы. «В пирамиду входят, как входят во фразу, у которой не понимаешь ни начала, ни конца. Смысл здесь, упорядоченный, точный. Но нам не хватает языка».

После полудня, пока Денон заканчивал съёмку восточной грани, Жомар отошёл в южную часть плато. Он хотел увидеть Сфинкса издали, прежде чем приблизиться к нему. Он остановился в трёхстах метрах и стал смотреть.

Голова поднималась из песка на горизонте, чётко очерченная на фоне неба, белого от жары. Пропорции смущали. Слишком велика для человека, слишком мала для монумента, нечто среднее, вне всех известных ему категорий. Он точно прочертил её силуэт. Четыре линии. Облом изуродованного носа. Край немеса. Полосатый головной убор, обрамлявший лицо. Тень, лежавшая на песке.

По мере приближения добавлялись детали. Бледно-жёлтый известняк, изъеденный тысячелетиями ветра, нагруженного песком. В породе были видны геологические пласты. Сфинкса вытесали из природной скалы. Рабочие следовали слоям камня, как скульптор следует волокну дерева. Наполовину стёртые уши ещё сохраняли свою форму. Глаза теперь были впадинами, но рельефные брови указывали, что их пришлось выдалбливать намеренно.

Жомар сел на песок у подножия головы, в узкой тени, которую она отбрасывала к концу дня. Это было единственное прохладное место на плато в этот час. Он нарисовал лицо снизу, под углом, которого ещё не изображал ни один живописец, — под углом того, кто сидит у подножия монумента и поднимает глаза.

— Пора в лагерь, гражданин, — пришёл сказать ему солдат из охранного отряда. Жомар, не оборачиваясь, поднял руку и не шелохнулся. Солдат удалился, пожав плечами. Света оставалось минут на двадцать.

Он думал о том, что Сфинкс стерёг. Или должен был стеречь. Древние египтяне, как узнают позднее, называли его Хор-эм-ахет, Гор в горизонте. Бог-сокол, бывший также восходящим солнцем. Это лицо смотрело на восток, точно на восток, на солнце в час его восхода, — астрономический расчёт, выполненный с точностью, которую его собственные инструменты лишь подтвердят.

Здесь всё было намеренным, ничто не было украшением ради простого удовольствия. Каждая пропорция, каждая ориентация, каждый выбранный материал отвечали логике, которую строители носили в голове и которую не сочли нужным объяснять, потому что их преемники знали её тоже. Затем преемники исчезли, а с ними и логика, и остался лишь камень, точный и немой, под карандашом двадцатилетнего инженера.

Когда света стало недостаточно, он встал и ещё раз взглянул на лицо. Отсутствующий нос не умалял выражения — если это было выражение. Что это безмятежность, он не поручился бы. Он стряхнул песок с пол сюртука и двинулся обратно к лагерю.

Взятие Каира 24 июля оказалось поразительно быстрым. Ворота города открылись без серьёзного боя — местные власти предпочли вести переговоры, нежели сражаться с армией, огневую мощь которой только что увидели. Бонапарт вступил в столицу Египта во главе своих войск, двигаясь по улочкам, где население осторожно оставалось в домах.

Солдаты не могли опомниться от изумления. После дней пустыни, а затем марша вдоль Нила они открывали для себя город в триста тысяч жителей. Его кишащие людьми базары, бесчисленные мечети, сады из пальм и апельсиновых деревьев, фонтаны. Для большинства из них это был самый большой и самый странный город из всех, что они когда-либо видели.

Жоффруа Сент-Илер обошёл квартал Хан эль-Халили в тот же вечер, когда армия вступила в город. Рисуя на ходу, делая заметки мимоходом. Город казался ему цельным и связным миром, устроенным по логике, ключей к которой у него не будет ещё много месяцев.

Хан эль-Халили был торговым сердцем Каира с XIV века. Лабиринт крытых улочек, где теснились ювелиры, ткачи, торговцы пряностями, книготорговцы, мастера по меди и латуни. Жоффруа бродил там уже час с раскрытым блокнотом, не в силах закрепить свои рисунки, потому что движение не прекращалось ни на миг. Лица, ткани, товары. Всё сменялось слишком быстро.

Старый торговец арабской каллиграфией заметил его и жестом пригласил войти в лавку. Жоффруа согласился. Мужчина разложил перед ним листы, покрытые знаками, которых он не мог прочесть, но эстетическую ценность которых сразу распознал. Изогнутые линии, диакритические точки, расставленные с точностью, в которой было столько же от рисунка, сколько от письма. Он купил три листа за скромную сумму. Торговец подарил ему четвёртый в знак приветствия.

Этот жест поразил его после перестрелок в Александрии и ощутимой настороженности улиц. Ничего общего с симпатией к Франции. Скорее гостеприимство — такое, каким оно существовало в этой стране до французов, до османов, даже до арабов. Старик уже вернулся к своим каламам.

Жомар, более практичный, сразу заинтересовался размерами города. Триста тысяч жителей — это больше половины населения Парижа. Но население было распределено на гораздо меньшей площади, в узких улочках, где бок о бок могли пройти лишь два осла. Он записал ширину улиц, приблизительную высоту фасадов, соотношение между застроенными площадями и внутренними дворами. Эти данные пригодятся ему позднее для демографических оценок.

Бонапарт же увидел в Каире административную проблему. Триста тысяч жителей, которыми надо было управлять с помощью армии из двадцати пяти тысяч измученных солдат. Соотношение было неблагоприятным. Нужны были местные союзники, управление через посредников, заимствованная законность. Он начал работать в тот же вечер, когда вошёл в город, пока его солдаты валились с ног от усталости.

Монж и Бертолле встретились во дворе заброшенного дворца и пили египетский кофе, поданный слугой, которого интендантство наняло только этим утром.

— Ну что ж, вот мы и здесь! — сказал Монж, поднимая чашку. — Шесть недель плавания, Мальта, пустыня, битва… и этот кофе, вы только попробуйте этот кофе, густой, как соус. В мамелюкском дворце!

— Остаётся главное, — сказал Бертолле, не притрагиваясь к своей чашке.

— Что же?

— Понять, что перед нами. Эту страну… Остальное — завоевание — было лёгкой частью, Монж.

Монж поставил чашку и оглядел двор. Пальма, каменный бассейн, звёзды над стенами. Пятьдесят два года он верил, что наука открывает мир. Она и вправду открывала его, и он не предвидел, что это может внушать страх. Каир по-прежнему не спал. На соседних улицах армия устраивалась на ночь. Выкрики приказов, лошади, глухой стук сгружаемых ящиков.

IV – Битва при Абукире

1 августа Нельсон атаковал французские корабли в бухте Абукир. Бой длился всю ночь. К утру одиннадцать из тринадцати линейных кораблей были потоплены или захвачены. *«Ориент»*, флагманский корабль, взорвался.

Французский флот стоял на якоре в мелководной бухте Абукир с первых дней июля, ожидая приказов адмирала Брюэса. Тринадцать кораблей, вставших борт к борту, правыми бортами к морю, левыми к берегу. Это было классическое расположение флота на стоянке, прикрывавшее один фланг тем, что флот опирался на берег. Брюэс выбрал эту позицию, потому что порт Александрии

был слишком мелок. Он полагал, что Нельсон сможет атаковать только с фронта.

Но Нельсон понял слабость такого расположения. Если бухта достаточно глубока для тринадцати кораблей, то её хватит и для прохода между этими кораблями и берегом. Французы защитились от открытого моря. Они оставили левый борт неприкрытым, полагая, что никто не посмеет сунуться на мелководье. Нельсон посмел.

Атака началась в восемнадцать тридцать, когда солнце опускалось к горизонту. Тринадцать семидесятичетырёхпушечных кораблей и пятидесятипушечный *«Леандр»* вошли на рейд, но *«Куллоден»* сел на мель и в бою участия не принял. Пять из них, по почину капитана Фоли, прошли между французской линией и берегом. Остальные атаковали со стороны моря. Французы оказались зажаты между двух огней, их орудия левого борта были бесполезны, ведь сражаться этим бортом они не рассчитывали.

Сражение развернулось в сгущавшейся темноте. Первые французские корабли линии, застигнутые врасплох, были сокрушены прежде, чем успели вернуть экипажи, рассеянные по берегу. *«Герье»*, *«Конкеран»*, *«Спартиат»* были расстреляны в упор британскими орудиями. К двадцати часам настала глухая ночь. Дрались лишь при свете орудийных выстрелов, пламени, поднимавшегося с повреждённых палуб, а позднее — луны, взошедшей над Средиземным морем.

«Ориент», флагманский корабль на сто двадцать орудий, находился в центре французской линии. Это был самый большой корабль в мире, построенный в Тулоне в 1791 году. Брюэс командовал на нём — раненый, но не желавший покинуть свой пост, — пока его не убило ядром. В двадцать один час на юте, где валялись горшки с краской и маслом, вспыхнул пожар и перекинулся на нижние палубы. Огонь

распространился до крюйт-камер. Матросы пытались его потушить, но помпы были разбиты прежними выстрелами.

В двадцать два часа *«Ориент»* взорвался. Взрыв был виден из Александрии, более чем за двадцать километров. Столб пламени поднялся на сто метров в ночное небо. Грохот взрыва прокатился по всему побережью. Десять минут ни британцы, ни французы больше не стреляли. Горящие обломки падали обратно в море. Тела матросов взлетали в воздух и падали в воду в сотнях метров от корабля. От *«Ориента»* не осталось ничего. Из тысячи человек экипажа подобрали лишь горстку выживших.

После затишья бой возобновился. Уцелевшие французские корабли пытались защищаться, но они были окружены, экипажи их поредели. На рассвете 2 августа одиннадцать французских кораблей были уничтожены или захвачены. Лишь двум удалось уйти в открытое море — *«Гийому Теллю»* и *«Женере»*. Им предстояло бежать к Мальте. Остальные были потоплены, выброшены на берег или находились в руках британцев.

Битва при Абукире стала величайшей морской победой Нельсона, и Средиземное море снова становилось британским. Французские потери составили несколько тысяч человек убитыми, ранеными или пленными. Британцы не потеряли ни одного корабля.

Без флота французская армия оказалась пленницей Египта — без подкреплений и снабжения, без средств вернуться. Тридцать восемь тысяч солдат и сто шестьдесят семь учёных, отрезанные от мира.

Весть дошла до Бонапарта 14 августа, на дороге в Каир, при возвращении из Салихии, через штабного офицера, которого Клебер прислал к нему из Александрии. По прибытии в столицу он созвал военный совет.

— Брюэс встал на якорь в бухте Абукир. Вместо того чтобы укрыть флот в Александрии. Нельсон атаковал ночью. Флот уничтожен. Вот наше положение.

Каффарелли — сорока двух лет, генерал инженерных войск, с деревянной ногой со времён осады Мангейма, с прямотой как профессиональным недостатком — задал вопрос, задать который никто не решался.

— Генерал Бонапарт, какова долгосрочная стратегия? До каких пор мы останемся здесь?

Бонапарт колебался.

— Мы держим Нил, Каффарелли. Египет прокормит армию. Мальта дала нам возможность продержаться. От Директории мы не зависим. Продолжаем. Восточная армия отрезана от Франции — что ж, теперь мы обязаны совершать великие дела. Морем нельзя? Тогда сушей. Сирия, Турция. Или же мы останемся здесь, пока не изменятся обстоятельства.

— Значит, пленники, — сказал Монж с коротким смешком, который никого не развеселил. — Надолго ли?

Бертолле, державшийся стоичнее, отыскал прецедент.

— Александр провёл одиннадцать лет вне Македонии, Монж. Его что-то не очень жалеют. Наша работа здесь переживёт нас… Держитесь этого.

Каффарелли после совета нашёл Фурье в коридоре дворца и остановил, придержав его за руку. Каффарелли был единственным генералом армии, который не притворялся перед штатскими. И единственным, кто не спрашивал позволения задать неприятный вопрос.

— Вы слышали Бонапарта. Он отдал приказ продолжать. А вы что об этом думаете?

— Я думаю, что у него нет выбора. И что он это знает.

— А у нас?

— У нас тоже.

Каффарелли ничего не ответил. Он отпустил Фурье и направился к своим офицерам; его деревянная нога стучала по каменным плитам.

Всё предприятие отныне держалось лишь на том, что адмирал встал на якорь не в том месте.

Известие об уничтожении флота дошло до учёных по-разному, в зависимости от их места в иерархии лагеря. Одни узнали о нём от штабного офицера, пересекавшего двор. Другие — от египетского слуги, слышавшего разговоры солдат.

В тот вечер, прежде чем вернуться на квартиру, Жомар зашёл в северные пристройки дворца Хасан-Кашифа, где хранились коллекции. С фонарём и рукописной описью в руках.

Ящики были на месте — ящики с этикетками, надписанными его рукой, и официальные коллекции Монжа и Бертолле. В северо-западном углу, у задней стены, стояли двадцать три ящика без этикеток. Ни серийного номера. Ни имени комиссара. Обычное дерево, наспех заколоченное вкось вбитыми гвоздями. Он попытался приподнять один из них. Слишком тяжёл для одного человека. Пальцы прошли в щель между досками. Холст. Что-то твёрдое под ним. Вскрывать он не стал. До этого вечера он уже трижды видел их с самого начала экспедиции. Первый раз в Александрии, не обратив внимания, среди других ящиков. Второй — несколькими днями раньше, когда приходил с фонарём проверить коллекции. Третий — накануне. Они не сдвинулись с места, и никто не заявил на них права. Они существовали вне системы, вне бланков, ордеров, инвентарных книг. Они были той частью экспедиции, у которой не было имени.

Он записал существование этих двадцати трёх ящиков в личный дневник, внизу страницы, с датой и пометкой : «Происхождение неизвестно. Содержимое не проверено». Он никому об этом не сказал. Эти ящики кому-нибудь да принадлежат. Кто-нибудь потребует их назад или не потребует.

На следующий день после полудня Жомар отправился на рынок пряностей Хан эль-Халили, чтобы узнать, известна ли новость в городе. На первый взгляд ничто этого не выдавало. Торговцы торговали. Покупатели покупали. Цены на перец и корицу не изменились по сравнению с прошлой неделей.

Торговец тканями, которого он знал в лицо, подал ему знак подойти. Мужчина произнёс несколько слов по-арабски, указывая на небо, потом на море на севере, потом сомкнул ладони и резко развёл их. Он подержал их раскрытыми, пустыми ладонями вверх, над рулонами хлопка.

— Они знают, — сказал Жомар своему переводчику.

— Со вчерашнего вечера. На базарах новости разносятся быстрее гонцов. Говорят, что французский флот уничтожен. И что вы теперь здесь пленники.

— И что они об этом думают?

Переводчик обменялся несколькими фразами с торговцем. Потом повернулся к Жомару.

— Он говорит, что французы не первые, кто попал в ловушку в Египте, что мамелюки тоже думали, что останутся, что Нил будет течь и тогда, когда вы уйдёте, а ещё что, если вы хотите купить ткань, он предлагает выгодную сделку на сегодня.

Жомар купил кусок индиговой ткани. Применения ей у него не было. Цвет был красив, и ему хотелось сделать за этот день хоть что-то конкретное.

В последующие часы его больше занимал другой вопрос. Как его собственные тетради, рисунки Денона, коллекции Жоффруа вернутся во Францию?

С наступлением вечера, когда новость окончательно разошлась по городу, учёные собрались во внутреннем дворе дворца. Никто не предлагал им там встречаться. Они приходили один за другим, влекомые одной и той же потребностью не оставаться наедине с новостью.

Бертолле пришёл несколькими минутами позже, с листом расчётов в руке. Сидя, положив лист на колени, он без предисловий сказал Монжу :

— Я оценил имеющиеся припасы. Мука, масло, рис, вяленое мясо. При правильном нормировании армия продержится шестнадцать месяцев без внешнего снабжения. Мы не умрём с голоду. И на том спасибо.

— Меня беспокоит не голод, — сказал Монж. — Скорее…

— Я знаю. Но голод я могу сосчитать.

Фурье сидел в стороне, под портиком, и не проронил ни слова. То, чего не вмещали слова, он доверял математике. Потеря флота была задачей со многими переменными — припасы, подкрепления, возможные пути отступления, — уравнения которой ускользали от него. Он всё равно искал их. Это был его способ бояться.

— А наши коллекции? — сказал Жоффруа. — Как вернутся они?

Никто не ответил сразу. Каждый задавал себе этот вопрос. Никто не хотел произнести его первым.

— Тетради поместятся в наши карманы, — сказал Жомар. — Измерения, заметки, наброски. Несколько килограммов на человека, не больше. Это может пройти через что угодно.

— А ящики? — сказал Жоффруа. — Мои образцы. Пробы Бертолле. Керамика, папирусы, статуэтки. То, что тяжело.

Бертолле сложил лист с расчётами.

— То, что тяжело, уязвимо. Лучше признать это сразу. Если англичане овладеют восточной частью Средиземного моря, всё, что мы захотим погрузить на корабль, может быть захвачено.

Кошка пересекла плиточный пол и исчезла под портиком. Где-то в городе муэдзин начал ночной призыв. Протяжный, извилистый голос, который то поднимался, то опускался в мелодии, слышанной Жоффруа каждую ночь с 1 июля и всё так же казавшейся ему чужой.

— Бонапарт сказал, что если море… словом, что мы вернёмся через Сирию, если не сможем вернуться морем, — сказал Монж.

— Бонапарт говорит много всего, — ответил Бертолле. — Сейчас он прав, что говорит. Армии нужно в это верить.

Они просидели во дворе час, так ничего и не решив.

Они поднялись один за другим и разошлись по своим комнатам, потому что больше делать было нечего.

Жоффруа сел за рабочий стол и стал писать.

«Мы потеряли флот четырнадцать ночей назад, не зная об этом. Я говорю „мы“, потому что это точное слово. Эта потеря общая, хотя меня не было при Абукире и я не моряк. То, что я потерял вместе с флотом, это уверенность в том, что увиденное мною здесь не вернётся во Францию — или, по меньшей мере, не вернётся в том виде, который я выбрал бы. Мои тетради, мои таблицы, семьдесят видов рыб, птиц и пресмыкающихся, собранных мною с Александрии на рынках и у рыбаков. Всё это теперь заложник военной ситуации, над которой я не властен».

Он остановился, перечитал. Последняя фраза была слишком жалобной. Он вычеркнул её одной чертой и начал заново.

«Меня сегодня занимает не страх. Я не думаю, что мы умрём здесь. Бонапарт что-нибудь придумает, он всегда что-нибудь придумывает. Меня занимает вопрос более отвлечённый — зачем нужно свидетельство, если свидетель не может вернуться. Таблицы, которые я сделал с крокодила, ибиса, нильских рыб, имеют ценность, если кто-то их увидит. Запертые в ящике в Каире, они не ценнее тех животных, которых изображают».

Он дал чернилам высохнуть.

Его тетради с заметками и таблицами весили все вместе около десяти килограммов. Образцы в банках и деревянных ящиках — около сорока килограммов. Человек мог нести двенадцать килограммов на спине в долгом переходе. Сорок килограммов требовали лошади или мула. Лошадей и мулов армии нельзя было использовать для личных коллекций гражданского натуралиста.

Он составил список того, что мог бы нести сам, если бы обстоятельства этого потребовали. Тетради, в первую очередь и безусловно. Инструменты для вскрытия — скальпели, ножницы, пинцеты — несколько килограммов. Самыми маленькими и самыми ценными из образцов были птичьи шкурки, черепа пресмыкающихся, сушёные рыбы, мумифицированный ибис. То, что уместится в кожаную сумку.

Остальное — крупные рыбы в банках, крокодилы, черепа млекопитающих — останется. Если уходить пешком через Сирию, как говорил Бонапарт, нельзя навьючить банки на спину идущему по пустыне человеку.

Этот вынужденный отбор открывал ему то, чего он не предвидел. С самого отъезда он считал, что документирует Египет, чтобы привезти его во Францию. То, что он привезёт, будет зависеть не столько от его выбора, сколько от того, что сможет физически проделать путь. История,

которую рассказывают о стране, — это история того, что смогло вернуться.

Он написал последнюю строку.

«Если эти тетради дойдут до тебя, а я нет, значит, они путешествовали одни. Это, вероятно, лучший способ путешествовать. Вещи легче людей».

Он сложил лист и вложил его в первую тетрадь, между страницами Тулона. Потом снял нагар с фитиля и стал ждать дня.

V – Институт Египта

Спустя три недели после Абукира, 22 августа 1798 года, через двадцать девять дней после взятия Каира, Бонапарт декретом основал Институт Египта.

Институт имел официальной задачей изучать страну во всех её измерениях — природном, историческом, экономическом — и отвечать на вопросы, которые военная администрация не умела решить сама. Он заседал во дворце Хасан-Кашифа. Бонапарт был его вице-президентом, Монж — президентом. Каждые пять дней учёные собирались в большом зале и возобновляли работы.

Монж председательствовал на первом заседании.

Он преподавал начертательную геометрию сыновьям ремесленников, которые учились читать в то же время, когда осваивали конические сечения. Политехническая школа была основана для того, чтобы заслуга заменила происхождение. Для него Египет был не столько завоеванием, сколько доказательством того, что революционная Франция способна создать то, чего никогда не создадут монархии, — научную экспедицию в самом сердце военной кампании.

Он открыл прения несколькими словами.

— Мы здесь, чтобы понимать, друзья мои. Не завоёвывать — этим и без нас прекрасно занимаются другие. Прошу вас никогда этого не забывать.

Сидевший в последнем ряду Жоффруа записал эту фразу.

Бонапарт приходил часто, и учёные не оставались равнодушны к вниманию человека, обладавшего властью.

— Господа, Египет был самой цивилизованной страной мира. Три тысячелетия истории, погребённые под землёй. Откопайте их. Измеряйте, рисуйте, собирайте. И сегодняшний Египет тоже — наука служит живым, иначе она ни на что не годна.

В начале октября Денон, который следовал за армией от самой Александрии и видел пирамиды вечером после битвы, вернулся, чтобы несколько дней рисовать их со всех сторон. Жомар взобрался вместе с ним на вершину Великой пирамиды. Полчаса подъёма по каменным блокам, доходившим им до груди, ладони стёрты в кровь. Оттуда — пустыня на западе, долина Нила на востоке, Каир на северо-востоке.

— Весь Египет одним взглядом, — прошептал Жомар.

— Да… Посмотрите на свет на восточной грани. Отсюда я смогу выверить свои перспективы по всем четырём граням.

Они измерили остатки храма Птаха, бога-творца Мемфиса. В пыли лежали обломки колосса из розового гранита — запястье толщиной со ствол дерева, куски ног, голова, — который позднее отнесут к царствованию Рамсеса II.

Работа была неблагодарной. Статуя была разбита на несколько кусков, разбросанных в траве. Восстанавливать размеры приходилось сложением, восполняя пробелы, оценивая недостающие части.

Около полудня Жомар укрылся в тени головы высотой почти два метра, чувствуя спиной тёплый гранит.

Он рассматривал лицо. Рот слегка улыбался той улыбкой, которую высекали колоссам Нового царства за тринадцать веков до нашей эры, — ни доброжелательной, ни угрожающей. Нос был отбит, вероятно, солдатами Средневековья, полагавшими, что уничтожают власть, уничтожая лицо. Урей — царская кобра на лбу, знак божественного верховенства — был сорван, остался лишь след. Немес был цел, его параллельные полосы читались под слоем пыли.

На поясе — на уровне бёдер, там, где сломанные ноги унесли остальное, — Жомар заметил картуш. Два вытянутых овала, обведённых сплошной линией, — царские имена, которые никто ещё не умел читать.

Голову же увезти было нельзя. Несколько тонн, цельный блок розового гранита, добытого в каменоломнях Асуана.

Старик, сидевший на корточках в тени колоссальной головы, уже некоторое время наблюдал за Жомаром. Сторож, быть может, или просто человек, севший здесь раньше него и не двигавшийся с места. Жомар показал ему свой блокнот, схему расчётов. Старик заговорил, но Жомар не понял. Затем старик взял прутик и начертил в пыли, возле ступни статуи, две параллельные линии и три косые черты поперёк. Схема. Не такая, как у Жомара, но узнаваемая, — груз, движущийся по наклонной плоскости. Они просидели так некоторое время, двое мужчин и две схемы в пыли. У одного были инструменты. У другого — память. Жомар считал в уме. Вся статуя до падения весила восемьдесят тонн. На барке. Нильские барки были известны. Плоские лодки, лёгкие, способные поднять не больше восьми тонн. Как перевозили по воде восемьдесят тонн?

Разумеется, не на одной барке. На нескольких, собранных в плот, связанных вместе, со статуей, положенной на брусья,

соединявшие все лодки. Расчёт показывал, что понадобится не менее десяти барок обычного размера, скреплённых в тесный строй.

Десять барок. Сотни метров канатов. Сотни людей. Чтобы перевезти статую к храму.

Его поражал не столько технический подвиг, трудный, но осуществимый, сколько само решение его совершить. Решить перевезти восемьдесят тонн на девятьсот километров по воде означало обладать уверенностью. Уверенностью в том, что результат стоит усилий, что статуя будет стоять на месте и через тысячу лет, что империя, которую фараон стремился прославить, просуществует.

Империя не устояла. Статуя лежала в пыли, разбитая, но здесь, доступная измерению.

Жомар подумал, не заключалось ли величие Древнего Египта не столько в том, что он совершил, сколько в том, что он замыслил оставить тем, кто придёт много позже. Он заточил карандаш о гранитное колено.

Денон проходил мимо с альбомом для набросков под мышкой и остановился перед ним.

— Размышляете?

— Измеряю. Что то же самое.

В начале ноября Бертолле подсчитал, что было сделано с июля. Сотни заполненных тетрадей, тысячи образцов, мемуары по геологии, ирригации, мумификации, сельскому хозяйству, языкам. Более трёх месяцев работы, уместившихся в одном реестре.

Дезе с конца августа преследовал Мурад-бея в Верхнем Египте. Бонапарт решил отправить к нему рисовальщика для изучения фиванских памятников; более многочисленная

комиссия последует лишь осенью 1799 года. Денон вызвался добровольцем и должен был выехать в начале декабря.

Вопрос о коллекциях уже смущал всех, и никто не хотел его решать. Учёные собирали природные образцы — минералы, чучела животных, сушёные растения — с молчаливого согласия Бонапарта, который видел в этом основы будущего египетского музея в Париже. С древностями дело обстояло иначе. В этом согласии признаться было уже труднее.

Жоффруа Сент-Илер возвращался с рыбного рынка Эмбабы с восемью видами, которых никогда прежде не видел.

Вскрытие неизвестной рыбы было для него беседой. Разрезы, наблюдения, записи, сравнение с анатомическими воспоминаниями о европейских видах. Внутреннее строение рыб было удивительно постоянным от вида к виду. Те же органы на тех же местах, с вариациями, отражавшими разный образ жизни. У донной рыбы глаза располагались иначе, чем у пелагической. Но в основе план оставался сходным.

Это постоянство анатомического плана при разнообразии видов он начинал смутно различать, ещё не умея его сформулировать. Если виды были созданы раздельно, как утверждало господствующее учение, почему у них один и тот же столь точный план? Ответ — что они происходят от общего предка — был опасной идеей. Кювье, профессор Музея естественной истории, отверг бы её. Академия взглянула бы на неё косо.

Четвёртая рыба лежала вскрытой на доске, когда вошёл Денон, уже прижимая платок к носу.

— Всё ещё со своими рыбами? У вас тут пахнет как в рыбных рядах.

— Слоновые рыбы. Нил, великие реки Африки. Вот, под хвостом — электрические органы. У рыб Амазонии есть

сходные, развившиеся на расстоянии восьми тысяч километров, без всякого контакта. Совпадение? Нет. Анатомическое ограничение, я полагаю.

Из восьми видов, принесённых тем утром, один привлёк его внимание. Он купил его у рыбака, не понимавшего, почему француза интересует эта обычная рыба.

Рыбу поместили в наблюдательный бассейн, глиняную миску, наполненную нильской водой. Рыба была длиной около шестидесяти сантиметров, буро-золотистая, покрытая чешуёй, толстой, как сочленённые щиты. Плавала медленно, с достоинством рептилии.

Жоффруа остановили грудные плавники.

Не плоские, лучистые плавники, как у всех рыб, которых он вскрывал с двадцати лет. Мясистые, лопастные придатки на внутренней опоре, похожей на конечность.

Он провёл ночь, изучая живую рыбу, а затем вскрывая её. В плавнике скрывалась длинная центральная кость, от которой отходили лучи и которая во всём походила на плечевую. Эта рыба, которую он назовёт *Polypterus bichir*, не имела никакого родства с рыбами Амазонии. И всё же у её плавников был с ними тот же основной анатомический план. На рассвете вода в миске порозовела.

Жоффруа написал Кювье на следующий вечер. Кювье остался в Париже — экспедиция показалась ему слишком рискованной, слишком неопределённой. Их письма разминались на морях, опаздывая на месяцы.

«Дорогой друг, — писал Жоффруа, — я нашёл здесь нечто, что само по себе оправдало бы наше путешествие. Рыбу, у которой, кажется, есть руки. Не руки, разумеется, плавники. Но внутренний план, похожий на план конечности и притом тот же самый, совершенно тот же, у видов, которые никогда не могли скреститься. Я до сих пор не знаю, что об этом думать. Но это не может быть случайностью».

Кювье несколько месяцев не отвечал по этому пункту. Сходства, написал он тогда, не подразумевают общего происхождения. Бог вполне мог использовать один и тот же план в разных обстоятельствах.

VI – Восстание в Каире

С первых дней октября 1798 года Жомар начал вести журнал города. Ничего личного — к этому он склонности не имел. В перечне значились оценочная численность населения по кварталам, плотность застройки, ширина переулков, высота фасадов, площадь рынков. К нему добавлялись наблюдения о потоках движения, часах работы базаров, географии воды, фонтанах и их бассейнах.

Вечером 20 октября, накануне восстания, он вышел с фонарём измерять площадь Эзбекия. Она была сердцем французского присутствия в городе. Здесь Бонапарт устроил свою главную квартиру, здесь проходили рынки, официальные празднества, сборы войск. Каирцы в большинстве пересекали её, не задерживаясь, с опущенным взглядом, быстрым шагом.

Он измерял углы площади, отмечал расстояния при помощи выверенной верёвки, когда заметил, что группа мужчин, сидевших у фонтана, наблюдает за его работой.

Один из них встал и подошёл. Он произнёс несколько слов по-арабски, которых Жомар не понял. Потом указал на мерную верёвку и сказал другую фразу. Жомар истолковал её как вопрос о том, что он делает.

Он показал ему частичный план площади, который начертил. Мужчина внимательно его рассмотрел, перевернул блокнот, держал его на вытянутой руке. Потом сказал фразу своим товарищам. Они засмеялись. Смех не насмешливый, а скорее удивлённый.

Жомар так никогда и не узнал, что они сказали. Они узнали, думал он, свою площадь на рисунке. Вероятно, кто-то впервые показывал им их собственный город сверху. Или, может быть, они смеялись потому, что молодой француз со своей верёвкой пытался измерить то, что не нуждалось в измерении.

21 октября 1798 года скрытая враждебность каирского населения в конце концов взорвалась. Искрой стал новый налог на собственность. Генерал Дюпюи, комендант города, был убит толпой.

С рассвета тысячи мятежников, вооружённых саблями, копьями и палками, хлынули на улицы Каира. Одиночные солдаты были перебиты, обезглавлены. Восставшие кварталы, где гнев зрел три недели, забаррикадировались.

Бонапарт, находившийся тогда в Старом Каире, узнал о восстании утром. Толпы преграждали ему городские ворота, и ему пришлось сделать крюк и вернуться в город лишь через ворота Булака. Он приказал всем наличным войскам отбить город квартал за кварталом.

— Раздавите это. Без промедления, — крикнул он своим генералам. — Малейшая слабость — и нас перебьют до вечера. Огонь по любому враждебному сборищу. Без предупреждения.

Артиллерия обстреливала восставшие кварталы. Дома из необожжённого кирпича рушились облаками пыли. Пехотинцы прочёсывали улицы. Мечеть аль-Азхар была захвачена, и это осквернение ужаснуло весь мусульманский Египет.

Подавление длилось три дня. Бонапарт приказал казнить всех захваченных живыми вождей мятежа. В течение нескольких ночей их обезглавливали в Цитадели, а тела бросали в Нил.

Денон не стал дожидаться конца подавления, чтобы выйти. Его слуга-египтянин, перепуганный, советовал ему вернуться. Он не послушался.

На улицах квартала, где он жил, он увидел группы вооружённых людей, горящие лавки. Запах дыма и что-то ещё под ним, что он узнал и не назвал. В переулке лежал мёртвый французский солдат. Женщины кричали из окон, бежал ребёнок. Французская армия, застигнутая врасплох, не сразу организовала ответ.

— Ступайте домой, ради всего святого, — бросил офицер, заметив его с альбомом для набросков. — Сейчас не время рисовать.

— Напротив, мой дорогой, сейчас самое время. Кто через пятьдесят лет будет знать, что здесь произошло? Никто, если никто этого не запишет.

Он в конце концов вернулся спустя час и наблюдал за дальнейшим из окна своего второго этажа. Французские солдаты окружали группу повстанцев в переулке. Мечеть распахнула двери, чтобы принять беглецов.

Денон закрыл окно. На улицах не стихали выстрелы. В Институте, в нескольких сотнях метров отсюда, тот же день проживали иначе.

Никто не приказывал учёным оставаться в Институте. Бонапарт в спешке боёв не заботился об их передвижениях. В этом не было нужды. Французских солдат, убитых в двухстах метрах отсюда, вооружённых мятежников в каждом квартале, не смолкавших с самого рассвета выстрелов вполне хватало, чтобы держать их взаперти.

Фурье устроился в большом зале Института со своими тетрадями и занялся уравнениями. Он думал, хотя ещё и не облёк это в теорию, о том, как тепло распространяется в телах. Тепло подчинялось точным и неизменным законам.

Мятежи — нет. Это была ещё одна причина предпочитать физику.

Около полуночи к нему присоединился Жомар с фонарём.

Бертолле вошёл около трёх часов ночи, не предупредив о себе. Он взял стул и некоторое время смотрел, как работают двое других.

— Что вы вычисляете? — спросил он Фурье.

— Как распространяется тепло в неоднородной среде. Уравнений у меня пока нет.

— Полезно. Здание слева горит с самого утра. Если повезёт, ваши размышления предскажут, заденет ли огонь наше до рассвета.

— Не останавливайтесь, — добавил он, выходя. — Это всё ещё единственное, что отличает наше пребывание здесь от… словом. От обычной оккупации.

Они работали молча до самого утра, каждый над своими расчётами. Снаружи горел город. Жомару дважды пришлось снимать нагар с фитиля фонаря.

Монж же написал письмо жене. Регулярной почты не было со времён Абукира. Он всё равно написал. Что было в этом письме, никто так и не узнает. Он тщательно запечатал его и носил в кармане куртки до самого отъезда из Египта, десять месяцев спустя.

24 октября учёные осторожно вышли из Института. Три дня большинство из них просидели за баррикадами, слушая выстрелы. Несколько кварталов превратились в дымящиеся руины.

Денон вышел на разорённые улицы и стал рисовать.

По крайней мере, попытался. Перед ним стоял обрушившийся дом с фасадом, сорванным ядром, обугленные деревянные балки поперёк улицы, детский башмачок в пыли. Он провёл линию конька того, что

осталось стоять. В Гизе он рисовал пирамиды со всех сторон. На Мальте он рисовал произведения, которые увозили, и те, которые оставляли. Денон всегда считал, что рисовать — значит свидетельствовать, а свидетельствовать — значит быть беспристрастным. У карандаша нет лагеря; что существовало, то запечатлено, не более того.

Но этот дом разрушили французские солдаты. Артиллерия армии, с которой он путешествовал, от которой зависели его пропитание, передвижение, работа. Эти руины, однажды нарисованные, станут документом о расправе, которую его присутствие здесь некоторым образом одобряло.

Денон всё же рисовал — скорее по рефлексу, чем по убеждению. Страница заполнилась. Когда он закрыл альбом, он не мог бы сказать, был ли этот жест необходимым или недостойным, или и тем и другим. Он был в пепле по самые запястья.

Дальше в переулке резная деревянная дверь лежала сорванной с петель. Выпотрошенная лавка на рынке, опрокинутые полки, медный сундук, открытый и пустой. Денон подумал о дворце Хасан-Кашифа, о комиссарах, заполнявших свои списки. Тот же жест, только без критериев и без разбора. Здесь говорили «грабить», там — «собирать». Он ногой захлопнул крышку сундука.

Хасан шагал впереди него, прокладывая путь. Возле мечети Ибн-Тулуна они увидели двух французских солдат, опустошавших лавку ткачей. Ткани выносили из двери свёртками и складывали на деревянную тачку. Шелка, крашеный хлопок, белый лён, который берегли для больших дней. Один из солдат снимал со стенного крепления ткацкий станок.

Хозяйка стояла в проёме задней двери, женщина в чёрном. Она смотрела и молчала. Ни мольб, ни криков. Только глаза, следившие за каждым свёртком. Солдат прошёл мимо неё с

тачкой, и она отступила на шаг, ровно на один, не больше и не меньше.

Хасан остался на улице. Переводить было нечего. Денон взглянул на него на мгновение, на Хасана, наблюдавшего за женщиной, которая наблюдала за солдатами, и понял, что посредник тоже видел и что видеть, не имея возможности действовать, придаёт лицу особый оттенок. Он не сделал никаких записей.

Вечером Хасан вернулся к себе, в коптский квартал, где армия снимала ему комнату. Ни на стороне солдат, ни на стороне мятежников. На стороне языка. Переводчик по обе стороны черты, которую не мог пересечь. Французские приказы переведены. Арабские мольбы переведены. Иногда он уже не знал, на каком языке думает. В этот вечер он не думал ни на каком.

На улице Денон нарисовал опустошённую лавку. Гвозди в стене, на которых висели ткани, более тёмный след на полу, где годами стоял ткацкий станок, дверной проём с женщиной в чёрном, которая смотрела. Работа быстрая, без подписей, без даты. Когда он закончил, солдаты уже ушли с тачкой. Женщина вернулась в лавку и закрыла внутреннюю дверь.

После окончания расправы Бонапарт созвал уцелевших нотаблей и улемов, не принимавших активного участия в восстании, чтобы дать им понять, чего им будет стоить любая новая попытка мятежа.

— Вы видели, что бывает. Ваши кварталы разрушены. Ваши предводители казнены. Аль-Азхар обстреляна. Если вы восстанете снова, я сравняю с землёй весь город.

— Этот мятеж, видите ли, генерал, этот мятеж ясно это показывает — наше положение невыносимо, — сказал Монж Бонапарту на совете, последовавшем за расправой. —

Этой страной не управляют одной лишь военной силой. Во всяком случае, не бесконечно. Население враждебно к нам. И останется таким, пока мы будем здесь чужеземными оккупантами.

Совет закончился поздно. На следующее утро Бонапарт вызвал Монжа, вдали от офицеров, во внутренний двор реквизированного дома близ площади Эзбекия. Там были кофе и два табурета. Бонапарт стоял.

— Одной силы недостаточно, сказал ты. Пусть так. Что ты предлагаешь?

Монж не рассчитывал, что с ним станут советоваться по этому вопросу. Он всё же сказал, что думал.

— Учреждения. Не прокламации, а учреждения! Суды, судящие по известным правилам, школы, а затем — и это самое важное — система землевладения, защищающая феллахов от произвола. То, что Революция сделала во Франции, но здесь.

— За какое время?

— За поколение. Как минимум.

— У нас нет поколения. Два года. Быть может.

— Тогда вы не будете управлять этой страной. По-настоящему — нет. Вы будете её оккупировать, а это… другое.

Бонапарт долго смотрел на него.

— Оккупации хватит. Для того, что я хочу сделать.

Монж не спросил, что Бонапарт хочет сделать.

В тот вечер Монж записал в дневнике. «Бонапарт знает, что он не правит. Оккупацию администрируют. Разница мало его заботит. Для меня она очень важна. Я по-прежнему не знаю, важна ли она для египтян».

В недели, последовавшие за расправой, вновь воцарилось некое зыбкое подобие нормальной жизни. Рынки

открылись. Мечети снова приняли верующих, кроме аль-Азхар, которая оставалась закрытой. Французские солдаты возобновили обходы. Учёные снова стали выходить в город со своими блокнотами и приборами.

Но своё пребывание в Каире учёные теперь переживали иначе. Иллюзия мирного сосуществования с населением не пережила этих трёх дней. Они продолжали работать, ходить на рынки, встречаться с некоторыми каирскими нотаблями, но под угрозой насилия, которое могло вспыхнуть вновь в любую минуту.

В глазах каирцев Денон оставался тем, кем был всегда. Французом, а значит, оккупантом, а значит, потенциальным врагом.

На базарах большинство лавок открылось вновь, и ремесленники работали.

В переулке позади аль-Азхар Денон нашёл кораническую школу, где ученики возобновили занятия. Дети сидели кружком вокруг старого наставника, который читал вслух и заставлял их повторять. Наставник поднял глаза, когда он проходил, взглянул на него и снова принялся читать, не изменившись в лице.

Дети твердили текст, которого они, вероятно, ещё не понимали, на языке, который их родители, быть может, уже не читали. Вантюр де Паради, востоковед, долго работавший в левантийских и варварийских факториях, говорил ему, что передача предшествует пониманию. Слова входят сначала в тело, смысл приходит потом. Жест же был понятен. Урок продолжался с того стиха, на котором прервался.

Город затянет раны по-своему, в ритме, который французы не контролировали и поймут лишь наполовину. А дети твердили уроки, не дожидаясь, пока оккупанты закончат сражаться.

VII – Сфинкс и некрополи

В ноябре Денон организовал экспедицию к Сфинксу. Они выступили до рассвета, чтобы прийти к утреннему косому свету — единственному, при котором проступят детали камня.

Сфинкс предстал сперва как масса. Темнее песка, плотнее ночи. Затем свет пришёл с востока, и из тьмы выступила голова — без носа, с пустыми глазницами. Монумент длиной семьдесят три метра и высотой двадцать оставался погребённым по плечи. Поверхность известняка проступила во всех своих оттенках. Серо-бежевая там, где ветер отполировал породу, темнее в углублениях, где песок скопился тонкими слоями. Трещины пересекали лоб, спускаясь от макушки к вискам, иные шириной в несколько пальцев, другие едва заметные. Камень не был однородным. Пласты более мягкого известняка чередовались с более твёрдыми, образуя горизонтальные линии, которые бороздили лицо. На щеках оставались видны следы орудий, повторные удары зубила, вылепившие изгибы и оставившие правильные грани, которых эрозия ещё не стёрла. Песок поднимался вдоль боков, образуя пологий склон, который ветер непрестанно переделывал, песчинку за песчинкой.

Правый глаз надолго приковал внимание Денона. Известняк был обработан вглубь, глазное яблоко выдолблено, чтобы создать взгляд, которого больше не существовало, верхнее веко всё ещё угадывалось, несмотря на эрозию. Кто-то пожелал, чтобы эта голова смотрела — и смотрела куда-то.

Голова повёрнута на восток, точно туда, где всходило солнце.

— Это не статуя, — тихо сказал Денон. — Это… как бы сказать, инструмент. Солнечные часы размером с холм, где лицо — гномон. Взгляните, куда оно смотрит в день равноденствия. Геометрия, право, больше, чем благочестие. Вольней толковал бы нам о широком носе, о полных

губах… Я не берусь решать. Но тот, кто высек это лицо, умел измерять.

Завершив документирование места, экспедиция направилась к Саккаре. Некрополь тянулся на несколько километров в пустыне, кладбище Древнего царства, где ступенчатая пирамида, самая древняя из когда-либо построенных, вздымала свои шесть уступов на шестьдесят два метра. Они провели там два дня. Денон рисовал. Жомар измерял. Жоффруа изучал барельефы, пытаясь прочесть в них то, о чём молчали тексты. Стены мастаб местами сохраняли полихромию. Египетская синь — этот медно-кальциевый пигмент, который мастера получали обжигом, — держалась в углублениях, защищённых от света. Красная охра мужских тел, жёлтый цвет женских, живописные условности, повторённые на километрах погребальных стен. Иероглифы были высечены в углублённом рельефе, затем окрашены, каждый знак врезан в камень на несколько миллиметров, прежде чем получить цвет. Писцы работали справа налево по этим вертикальным колонкам, их ошибки порой были заметны там, где знак стёрли и вырезали заново, слегка сместив. Сцены повседневной жизни разворачивались в наложенных друг на друга регистрах. Вверху благородные занятия, приёмы, церемонии, приношения; внизу полевые работы, разделка мяса, хлебопечение. Жоффруа присел на корточки перед панно, изображавшим рыбаков, тянущих сеть. Рыбы были определимы по видам. Нильский окунь, тилапия, кефаль.

Жоффруа же видел только животных.

— Ибис. Крокодил. Бегемот… а там львы. Страусы. Многие больше не водятся в Египте — при фараонах они здесь ещё жили. Климат изменился. Или охота.

Они спустились в шахты с факелами. Двадцать метров, тридцать метров под пустыней. Спуск шёл по ступеням, высеченным в скале, неровным, отполированным

тысячелетиями шагов. Стены шахты сближались по мере спуска, круг дневного света над их головами уменьшался, пока не стал лишь белой точкой во тьме. Воздух густел. Пламя факелов колебалось в слабых сквозняках, что ещё ходили между поверхностью и этими глубокими камерами. В запахе смешивались селитра, минеральная пыль и животный дух. Стены шахты хранили следы выработки, вертикальные удары, идущие параллельными полосами. На проходку этих шахт ушли месяцы, быть может, годы. Бригады рабочих, трудившихся во мраке и поднимавших породу корзина за корзиной. Погребальные камеры были невелики, три метра на четыре самое большее, едва достаточно для саркофага и приношений. Низкий потолок заставлял пригибать голову, и под ним скапливался дым факелов. Обломки глиняной посуды усеивали пол, остатки, брошенные грабителями. По стенам бежали иероглифы и настенные росписи — путь умершего, прочерченный на камне.

Между двумя пребываниями в Саккаре Денон на несколько дней вернулся в Каир. В коптском квартале он знал мастерские ткачей, которые посещал регулярно.

Техника была проста и древна. Ручной станок, два чередующихся ремиза, челнок, пропускаемый между нитями. Шум станка наполнял мастерскую, ровный стук бёрда, уплотнявшего нити утка, скрип ремизов, когда ткач нажимал на педали. Шерсть сохраняла жиропот даже после стирки, и её запах мешался с запахом растительных красителей, сохнувших в кувшинах, выстроенных вдоль стены. С балок потолка свисали мотки, рассортированные по оттенкам. Глубокие синие тона индиго, кармин марены, зеленовато-жёлтые тона сенны. В углу ученик готовил протравную ванну, растворяя квасцы в горячей воде, чтобы закрепить цвета на волокне. Процесс не изменился. Замачивание в протраве, отжим, замачивание в красителе, полоскание в

Ниле. Те же движения, что и в фараоновскую эпоху. Шерсть и лён, сотканные по геометрическим узорам, ромбы, шевроны, костыльчатые кресты, стилизованные цветочные мотивы.

Денон сравнил современную коптскую ткань с зарисовками фресок Саккары, гробниц сановников Древнего царства. Мотив ромба, вписанного в круг, совпадал, как совпадали сочетание шерсти и льна и ширина ткани, около шестидесяти сантиметров.

Четыре тысячи лет отделяли фреску от ткани, а ширина не изменилась ни на палец.

Он купил несколько вещей. Фрагменты коптской ткани, на некоторых по краю ещё сохранились рисунки охоты или рыбной ловли. Застывшие силуэты, чёткие профили, иератический стиль египетского народного искусства, прошедший почти нетронутым сквозь христианство и арабское завоевание. Ткач завернул их в полотно.

Также глиняную посуду. Амфоры с двумя ручками, кувшины с узким горлом, чаши на ножке, изготовленные из той же нильской глины, обожжённые в тех же печах. Гончар, когда его спросили, пожал плечами. Его отец лепил их так же, и отец его отца.

Бертолле получил четыре человеческие мумии из Саккары.

Его занимали не тела, ими займётся медицина. Его занимала химия бальзамирующих смол. Эти чёрные блестящие вещества, пропитывавшие льняные бинты, представляли собой смесь органических веществ, компоненты которой он хотел определить.

Вернувшись в Каир, он плавил соскобленные образцы, другие растворял в спирте, анализировал пары, отмечал температуры плавления. На его рабочем столе стояли в ряд приборы. Перегонный куб из венецианского стекла, ртутные термометры, точные весы под колпаком. Он работал при

свете четырёх свечей, расставленных квадратом, чьё пламя не дрожало, когда он делал измерения. Образцы смолы были рассортированы по мумиям, снабжены латинскими этикетками, хранились во флаконах, запечатанных воском. Одни были глубокого чёрного цвета, другие рыжевато-бурые, третьи почти прозрачные. Он брал фрагмент шпателем, помещал в тигель, медленно нагревал, отмечая, при какой температуре материал меняет состояние. Смола сперва размягчалась, затем плавилась, затем дымила, выделяя едкий запах горелого дерева и вара. Пары собирались в охлаждаемую трубку, где конденсировались в маслянистые капли. Смола теребинта, животный жир, пчелиный воск, натрон, иудейский битум. Сочетание менялось от мумии к мумии. Логика — никогда. Ничто из того, что вызывает гниение, здесь не выживало.

В три часа ночи он поднял глаза от реестра на четыре тела, лежавшие на его столах.

Эти люди умерли тысячи лет назад. Их имена, быть может, значились в надписях на гробах. От них остались лишь сохранённые тела.

Эта неизменность смущала его. Ничего метафизического — Бертолле был материалистом, — то было смущение учёного. Эти бальзамировщики решили задачу органической химии наблюдением, опытами, передачей приёмов из поколения в поколение, более чем за четыре тысячи лет до всякой теории. Он очинил перо.

Он записал в своём отчёте. «Египетские приёмы бальзамирования составляют совокупность эмпирических химических знаний замечательной утончённости, систематическое изучение которых могло бы дать сведения о консервирующих свойствах, ещё недостаточно известных».

В Саккаре Жоффруа Сент-Илер вместе с Денoном исследовал окрестности некрополя священных животных,

где, как говорили, покоились быки Апис, посвящённые Птаху. В обломках виднелись фрагменты. Они остановились перед осколком чёрного гранита.

Денон написал такие строки. «Древние грабители оставили эти глыбы. Вот в чём мы на них похожи. Они брали то, что считали сокровищами. Мы берём то, что считаем знанием. Через две тысячи лет, если кто-нибудь спустится сюда с фонарём, он увидит всё ещё взломанные крышки. И спросит себя, как я спрашиваю себя сейчас, в чём разница между грабителем и учёным в тёмной галерее».

У его ног, среди осколков, рассыпанных в пыли, на одном фрагменте ещё виднелись два иероглифических знака, высеченных в углублённом рельефе, — птица, ломаная линия. Он подобрал фрагмент и сунул в карман.

В ту ночь, пока Денон возвращался в мастабу, где они ночевали, рынок в Саккаре продолжал жить во тьме. Всего два фонаря, поставленные на песок между прилавками. Феллахи из соседних деревень ждали, сидя на корточках позади своих циновок. Солдаты приходили группами по двое-трое, без оружия. Они прикидывали вес на ладони, торговались, уходили, унося что-то, завёрнутое в куртку. Ночной воздух был свеж после дневного зноя. Песок ещё хранил тепло, но пустынный ветер уже нёс холод глубоких ночных часов. Разговоры велись вполголоса, торг шёл на ломаном арабском или жестами. Один солдат поднёс скарабея к фонарю, чтобы рассмотреть иероглифы, вырезанные на нижней стороне. Другой торговался из-за цены амулета из фаянса, маленькой бирюзовой фигурки Анубиса с головой шакала.

Бертолле был там же — он сидел на складном стуле, который он велел везти за собой из Александрии. Перед ним стоял маленький походный стол, заваленный бланками Комиссии. Хасан показывал ему вещи одну за другой, держа лампу. Бертолле осматривал и вносил в свой реестр номер,

описание по-латыни, место в памятнике, состояние сохранности. Шесть предметов этим вечером, из них три царских скарабея, писцовая палетка из древесины сикомора, гранитная фигурка, канопский сосуд из алебастра с крышкой в виде головы шакала. Он записал «Следы чёрной смолы на горлышке». Затем остановился, поднял голову на Хасана.

— Что лежит в этой урне, той, что с крышкой в виде шакала?

— Желудок, — сказал Хасан.

— А. Я запишу и это тоже.

Бертолле просил в Саккаре мумии животных. В Каире, в начале февраля 1799 года, феллахи принесли ему шесть. Двух священных ибисов, двух кошек, молодого крокодила, одну землеройку. Он разместил их в большой комнате, которую Институт отвёл ему под лабораторию.

Он исследовал льняные бинты, пропитанные бурым веществом, которое он определил как битум, смешанный с растительными смолами. Из полостного наполнителя были взяты образцы — натрон, каменная соль, минеральные порошки. Больше всего его занимал натрон. Гидратированный карбонат натрия, встречающийся в природе в озёрах пустыни к западу от Каира. В январе он совершил туда пятидневную экскурсию с генералом Андреосси. Озёра Натрун. Белые просторы, по берегам которых кристаллизовался этот щелочной порошок, который египтяне собирали, чтобы бальзамировать своих мёртвых.

Анализируя растворение натрона в солоноватых водах озера, он заметил неожиданное явление. Реакция между морской солью и карбонатом кальция могла обращаться вспять в зависимости от температуры и концентрации. Химики его времени полагали, что реакции всегда идут в одном направлении, причём более сильная кислота вытесняет

более слабую. Бертолле начинал понимать, что это неверно. Что речь идёт о равновесиях.

Париж получит эти записки. Понадобятся ещё четыре года и *«Опыт химической статики»* 1803 года, чтобы вывести из них полную теорию.

Мумии же животных ставили перед Бертолле иной вопрос.

— Эти мумифицированные ибисы — наши ибисы, — бросил Жоффруа. — Помните, на берегу Нила мы говорили, что египтяне почитали их потому, что наблюдали природу? Вот. За три тысячи лет — без перемен.

— Тождественны, — поправил Бертолле.

— Так утверждает Кювье. Виды неизменны со времён Творения, и мумии это доказывают. Ни малейшего изменения.

— А Ламарк?

— Ламарк говорит, что три тысячи лет — слишком короткий срок, чтобы увидеть превращение. Что для этого нужно время… огромное.

Бертолле взял в руки одну из мумий ибиса. Птица была жёсткой, прекрасно сохранившейся, оперение ещё угадывалось сквозь бинты.

— Ни тот, ни другой никогда этого не докажет, — сказал Бертолле, кладя мумию обратно. — Для этого пришлось бы жить слишком долго.

Во время ноябрьской поездки они провели в Саккаре две полные ночи, ночуя в развалинах мастабы, чтобы оказаться на месте с рассветом. Ступенчатая пирамида возвышалась в центре этого погребального пейзажа.

— На столетие старше пирамид Гизы, — сказал Жомар, сопоставивший как мог те обрывки царской хронологии, которыми располагали учёные. — Приблизительно. Здесь они ещё искали форму. В Гизе они её нашли.

Поставленные друг на друга ступени чем-то напоминали месопотамский зиккурат, словно два народа, не зная друг друга, пришли к одной и той же мысли — громоздить, чтобы подняться к небу.

Вторую ночь Денон провёл, копируя сцены мастабы высокого сановника. Эти барельефы изображали занятия повседневной жизни — рыбную ловлю, охоту, земледельческие работы, разделку мяса, приготовление пива — с точностью, которая служила натуралистам Комиссии не меньше, чем художникам.

Возвращаясь из Саккары в Каир, Денон сделал крюк к берегам Нила в сумерках. В этот час свет был иным. Оранжевый и плотный, почти густой на камне. Он сел на известняковый блок у воды и попытался нарисовать реку против света. Задача была трудной. Свет менялся слишком быстро.

Жомар подошёл и дождался, пока он закончит. С Денономом не разговаривали, когда он рисовал.

— Я всё думаю об этом столетии, — сказал Жомар, когда Денон убрал карандаш. — С одной стороны опыт, с другой совершенство. Сто лет. Как можно продвинуться так быстро?

— Скорость… не уверен, что вопрос в ней. Мне кажется, египтяне мыслили время иначе. Для нас век — это долго. Для них, возможно, это был лишь срок, нужный, чтобы научиться.

Они вернулись в Каир в темноте, ведомые огнями минаретов. Вдали лаяли пустынные собаки. Где-то в переулках коптского квартала церковное било отбило час.

VIII – Научные споры

На заседании 16 ноября сошлись Монж и Фурье. Монж хотел объёмов и углов, Фурье — контекстов и значений.

Бонапарт, вице-президент Института, присутствовал на заседании и рассудил спор, признав правоту обоих, что было равносильно отказу его рассудить.

— Подлинная наука, друзья мои, — это измерение, — сказал Монж, открывая прения и положив обе ладони на стол. — Размеры пирамиды, её объём, её пропорции — вот что прекрасно! Окружающие её мифы… оставим их поэтам. Описание и истолкование — две разные дисциплины. Мы здесь ради первой.

— Пирамиды — не просто объёмы, которые надо вычислить, Монж, — ответил Фурье, не поднимая глаз от своих листов. — Это царские гробницы, акты веры в бессмертие. Если вы сохраните от них одни размеры, вы опишете ларец, а не то, что в нём хранится. И вы рискуете… решить, что поняли, лишь потому, что сосчитали.

Бонапарт поднял руку.

— Правы оба, — сказал он, глядя сперва на одного, потом на другого. — Труд будет содержать и то и другое. Измерения Монжа. А смысл найдёт Фурье.

На том же заседании Бертолле представил первый мемуар о химии натрона египетской пустыни. Он проанализировал образцы, купленные у каирских торговцев, и определил их точный состав.

— Натрон? Смесь солей, не более того. Карбонат, бикарбонат, хлорид натрия. Семьдесят дней в этом порошке — и влага поглощается, тело высыхает, не загнивая. Очень просто, очень эффективно. Ничего чудесного, боюсь.

Затем Жоффруа Сент-Илер представил свои наблюдения над ибисами, живыми и мумифицированными, — последние были обнаружены тысячами в некрополях священных животных близ Саккары.

— Один-единственный вид ибиса. Я сравнил мумии с живыми птицами. Это тот же священный ибис, белый с

чёрным, которого мы и сейчас видим на берегах Нила. Три тысячи лет — и ни одна черта не изменилась. Если виды и преобразуются, то увидим мы это не в таком масштабе.

Затем последовал доклад Жана-Жозефа Марселя, востоковеда и директора Национальной типографии, учреждённой в Каире, об успехах печати арабскими литерами. *«Курьер Египта»* теперь печатался по-французски, а по-арабски печатались только прокламации.

— Мы можем печатать на классическом арабском, и печатать чисто, — объявил он. — Прокламации, декреты, объявления… Население может читать нас на своём языке.

Затем слово взял Фурье с исследованием о распределении температур в египетской пустыне — тему ему подсказали наблюдения во время военных переходов. Его анализ потоков тепла в неоднородной среде предвосхищал исследования о теплоте, которые он позднее проведёт во Франции. Его слушали тем внимательнее, что все в зале испытали это явление на собственном теле.

— Жара пустыни… это не только температура воздуха, — пояснил Фурье. — Это потоки. Обмен между почвой, воздухом и телами, подвергающимися её действию. Я полагаю — во всяком случае, надеюсь, — что однажды можно будет предсказать, как она распространяется во времени и в пространстве.

Бонапарта же занимала не столько жара, сколько зрелище этих людей радикально разной подготовки — математиков, химиков, натуралистов, художников, инженеров, — которым удавалось говорить друг с другом об одном и том же предмете, о Египте.

— А древние египтяне — какое отношение ко всему этому имеют они? — спросил он.

— Напрямую никакого, — признал Фурье. Он на мгновение поискал продолжение. — Но их среда — да. То, как она

была устроена. Чтобы понять, почему они строили дома определённым образом, ориентировали храмы по определённым осям, рыли гробницы на определённую глубину, необходимо понимать тепловые условия, которым они подвергались.

Бонапарт поздравил докладчиков и призвал их идти дальше.

— Превосходно, — бросил он собранию. — Скоро — Верхний Египет. Фивы, храмы. Денон откроет дорогу.

Фурье остановил Денона в коридоре дворца Хасан-Кашифа. Под мышкой у него была пачка чертежей, созданных Комиссией со времени прибытия в Каир. Обмер Великой пирамиды, планы Сфинкса, разрезы гробниц Саккары. Восемьдесят три листа.

— Эти чертежи, — заметил Фурье. — Вы собираетесь их увезти?

— В этом цель экспедиции, — сказал Денон. — *«Описание»* не будет составляться здесь.

— Я говорю о предметах. О статуэтках, которые вы покупаете на рынке в Саккаре. Об амулетах в вашем багаже. Мы здесь, чтобы понять Египет, а не чтобы выгрести из него остатки.

Денон смотрел на пачку чертежей в руках Фурье. Измерения. Планы. Углы. Всё это останется здесь, в камнях, доступное всякому, кто придёт мерить после них. А деревянную раскрашенную статуэтку, купленную на рынке в Саккаре, ту, со скрещёнными на груди руками в позе Осириса, никто не найдёт здесь через тридцать лет. Она будет в Париже или утрачена.

— Разница между нами, Фурье, в том, что вы считаете, будто понимания достаточно. А я думаю, что некоторые вещи нужно увидеть, чтобы понять. А чтобы их увидели, они должны путешествовать.

Фурье забрал свою пачку и направился к себе в комнату, двумя дверями дальше по коридору второго этажа. Денон остался в опустевшем коридоре. Он лёг поздно в комнате, которую занимал во дворце со времени мятежа. Утром он обнаружил на своём рабочем столе раскрашенного деревянного *ушебти*, который, как он считал, был уложен в багаж, — тот стоял прямо, на виду, лицом к нему. Фурье, должно быть, заходил ночью. Он имел обыкновение бродить по дворцу в самые неожиданные часы, когда уравнения не давались. Но на полу, прямо перед столом, лежала песчинка. Одна-единственная, отчётливо видная на полированных плитках. Словно Фурье хотел сказать ему, что этот песок откуда-то взялся.

Или словно это была просто песчинка. С Фурье никогда не знаешь, предшествует ли намерение жесту или наоборот. *Ушебти* простоял на его столе весь день.

На этом же заседании в ноябре 1798 года, помимо официальной программы, прозвучало также неформальное выступление Вантюра де Паради, главного переводчика экспедиции, который говорил по-арабски, по-турецки, по-персидски и на иврите с беглостью носителя, и дни проводил, переводя для Бонапарта, а ночи — за арабско-французским словарём, завершить который ему так и не суждено было. Он умрёт от дизентерии в Сирии, у Сен-Жан-д'Акра, в мае 1799 года.

Он взял слово в самом конце.

— Я хотел бы представить Институту одно наблюдение. Скорее замечание. За без малого пять месяцев нашего пребывания в Египте мне мало-помалу открылась одна вещь. Арабский, на котором говорят нынешние египтяне, и классический арабский Корана — два разных языка. Я говорю не о диалектах. Это две системы, настолько же далёкие друг от друга, как латынь Цицерона и французский Мольера. Феллах из Дельты не понимает коранического

текста, который читает наизусть. Он произносит его фонетически, не улавливая смысла.

— Что это означает? — спросил Монж.

— Что ислам в Египте отчасти… как бы это сказать… религия, верующие которой не понимают священных текстов в их первоначальной форме. Вера передаётся авторитетом улемов, устным преданием, ритуалом. Не прямым чтением текста. Примерно как латынь в католической церкви до Лютера.

Бонапарт, слушавший не прерывая, задал вопрос.

— А улемы? Они-то понимают классический текст?

— Самые учёные — да. Остальные тоже читают наизусть. Цепь. Каждое звено передаёт то, что получило, а не обязательно то, что понимает.

Денон записал это наблюдение в блокнот. Оно перекликалось со сценой, которую он видел в переулке у коранической школы после мятежа. Дети, читавшие фразы, смысла которых, вероятно, всё ещё не знали, но звук и ритм которых уже были в них формой знания. Он подумал о собственных рисунках, о пирамидах, скопированных прежде, чем понятых, о Сфинксе, нарисованном на рассвете прежде, чем был постигнут его смысл. Он тоже начинал с линии. Он дважды подчеркнул фразу Вантюра.

— Иначе говоря, — заметил Фурье, словно про себя, — сначала передают, наизусть. Смысл приходит потом. Или не приходит. Не так уж далеко от того, что мы делаем с иероглифами, не правда ли? Мы копируем знаки, которых не понимаем… Другие после нас, быть может, их прочтут.

— С одной разницей, — сказал Вантюр де Паради. — У иероглифов больше нет живых носителей. У классического арабского они есть. Между улемами и феллахами, между текстом и обрядом язык выживает — иначе, чем был создан. Он собрал свои листки.

В тот вечер заседание закончилось поздно. Лампы почти догорели. Учёные вышли во двор Института, где ноябрьский воздух наконец-то был свеж — первый настоящий холод со времени их прибытия в Египет. Денон на мгновение задержался во дворе и поднял глаза. Звёзды над Каиром. Те же, что над Тулоном полгода назад, но Полярная звезда опустилась ниже к горизонту.

Бонапарт покинул Институт после заседания в сопровождении Бертолле. Какое-то время они шли по саду дворца, и гравий хрустел под сапогами. Бонапарт заговорил первым.

— Монж как-то сказал мне, что наука ищет истинное, независимо от полезного. Вы в это верите?

Бертолле не торопился с ответом. Этот вопрос он задавал себе всю жизнь, так и не решив его.

— Я думаю, что различие не столь отчётливо, как он утверждает. Наша работа здесь истинна. Измерения Жомара, химические анализы мумий, рисунки Денона. Но то, что мы здесь делаем, ещё и полезно — Франции, европейскому знанию о Египте, вам в политическом отношении. Истина и польза не исключают друг друга. Они идут вместе, редко в одном направлении, но вместе. Он помедлил, затем добавил :

— Единственное, что я отказываюсь утверждать, — будто то, что мы делаем, безобидно. Это неправда. И Монж знает это не хуже меня.

Бонапарт ответил не сразу.

— Фурье сказал мне сегодня вечером, что его исследования уравнений не имеют никакого немедленного военного применения. Похоже, он этим гордится.

— Он прав. Через двадцать лет его исследования найдут применения, которых он пока и не представляет. Наука идёт

впереди. Насколько впереди… этого никогда не знаешь заранее.

— Значит, разведчик. Который не знает, для какой армии обследует местность.

— Именно.

Они остановились у бассейна во дворе. Вода была неподвижна.

— Продолжайте, — сказал Бонапарт. — То, что вы здесь создаёте, переживёт экспедицию. Что бы ни случилось. Это единственная моя уверенность сейчас.

Бертолле вернулся в свою лабораторию и возобновил анализы.

Он сказал Бонапарту одну фразу в тот вечер, перед уходом. Фразу почти без интонации, как наблюдение химика о цвете осадка.

— В Италии, в 1796 году, мы выбирали, что пойдёт в Лувр. Монж выбирал, я утверждал. У нас было время, списки, комиссары. Здесь у нас ничего этого нет. Уходить придётся второпях. Что окажется в ящиках к моменту отъезда, то и уедет. Остальное останется. Не надо обманывать себя.

В 1796 году, в Италии, вывозила Франция. Здесь ничто не гарантировало, что это будет по-прежнему она. Бертолле сполоснул одну пробирку, потом другую.

В три часа ночи Денон снова зажёг лампу и взял свой блокнот.

Он медленно листал страницы, не перечитывая их по-настоящему. Рисунки сменяли друг друга. Паруса флота на рейде Тулона, порт Валлетты с палубы *«Юноны»*, колонна Помпея в Александрии, спины солдат в пустыне, пирамиды в сумерках, увиденные издалека.

У него был и другой список, который он не записывал. Вещи, которые он делал, не отмечая их. Он рисовал памятники,

которые нельзя будет увезти, видел, как солдаты молча прячут в карманы скарабеев, видел, как феллах провожает взглядом свой *ушебти*, и предпочёл не записывать того, что тот сказал. Этот список был длиннее двухсот сорока трёх рисунков. У него не было конца.

Он остановился на первом портрете путешествия.

Это был Бонапарт. Правый профиль, освещённый утренним светом на тулонской набережной, за несколько минут до посадки. Денон нарисовал его быстро, так, что генерал не заметил. Около десятка штрихов углём. Тонкий профиль, высокий лоб, подбородок, выдвинутый вперёд, в позе человека, глядящего на то, чего ещё нет.

Он взял чистый лист и нарисовал Бонапарта по памяти. Таким, каким видел его в Каире в середине августа, на следующий день после известия об Абукире. Тот же профиль, те же основные черты. Но это был уже не тот человек. Он искал разницу углём, стирал пальцем, начинал заново.

Не морщины. Три месяца не старят человека двадцати девяти лет. И не худоба — Бонапарт всегда был худ. Быть может, дело было в напряжении шеи. Или в челюсти, сжатой плотнее. Человек из Тулона глядел на то, чего ещё не существовало. Человек после Абукира глядел на то, что он потерял.

Денон положил оба листа рядом на рабочий стол.

Рисунки были похожи. Торопливый наблюдатель не заметил бы разницы. Тот же профиль, та же поза, та же рука рисовальщика. Но один после другого они говорили уже не одно и то же.

Впервые со времён Тулона он рисовал Бонапарта в его отсутствие. До сих пор его наброски генерала были документами. Поза командования, жест власти, историческая сцена, которую надо зафиксировать, пока она

не прошла. Этот ночной набросок был чем-то иным. Портрет без согласия модели, без свидетелей, взятый скорее из памяти, чем из действительности.

Он вложил оба листа вместе в один и тот же блокнот, один за другим. Тулон, затем Абукир.

Стоило ли что-нибудь то, что содержали эти блокноты? Вопрос казался ему теперь менее очевидным, чем в начале. В Тулоне, поднимаясь на борт *«Юноны»*, он с уверенностью знал, зачем он здесь. Чтобы запечатлеть историческую экспедицию, увидеть Египет прежде других европейцев, привезти образы ещё неизвестного мира. Вся программа умещалась в одну строку.

Полгода спустя он уже не был в этом уверен. Он видел нищету солдат в пустыне, жителей Александрии, смотревших на проходящую французскую армию с покорностью людей, повидавших слишком много, чтобы это их трогало, восстание в Каире и его подавление. Он рисовал всё это с тем же вниманием, что и пирамиды и барельефы. Не были ли его рисунки, помимо его воли, документами оккупации в той же мере, что и архивом открытия?

Он не разрешил этот вопрос в ту ночь. Его *«Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту»* тоже не разрешит его.

Он погасил лампу и лёг в темноте. В окне звёзды над Каиром были теми же, что видел Геродот с берегов Нила, теми же, которыми пользовались фараоновские астрономы, чтобы ориентировать свои памятники, теми же, что наблюдали французские моряки во время плавания из Тулона. Это его немного утешало. Египетское небо освещало пирамиды и бивуаки с одинаковым безразличием. Денон закрыл глаза. Завтра он снова будет рисовать.

ГЛАВА II : ПОДЪЁМ ПО НИЛУ

I – Дендера

Вечером 16 декабря 1798 года дивизия Дезе покинула Бени-Суэф, двинувшись на юг. Три тысячи пехотинцев, двести кавалеристов — и весь Верхний Египет, который предстояло завоевать. Денон, выехавший из Каира в начале декабря, чтобы присоединиться к дивизии, участвовал в походе со своим блокнотом.

В начале декабря Дезе побывал в столице, прежде чем вернуться в Бени-Суэф, и Бонапарт принял его.

— Две миссии. Уничтожить Мурад-бея. Открыть Верхний Египет для учёных. Обращайтесь с ними как с сотрудниками. То, что они привезут, стоит ваших побед.

Дезе было тридцать лет, он обладал практическим умом и не имел особого вкуса к древностям. Он понимал приказы, и этого было довольно.

— Я буду защищать их как своих солдат. Но предупредите их, Мурад-бей не даст нам передышки. Месяцы. Быть может, вплоть до Асуана. Вашим учёным придётся это вынести.

Перед тем как Денон покинул Каир, чтобы присоединиться к дивизии, через несколько дней после заседания Института, Бонапарт на мгновение задержал его. Он открыл ящик своего походного стола и достал сложенный документ. Список на четырёх страницах, который он показывал Денону перед Тулоном, с тех пор дополненный.

— Вот что должно вернуться. То, что Франция заслуживает привезти.

Денон пробежал первые строки. Категории и описания. Переносные обелиски, фрагменты барельефов исключительного качества, документированные папирусы, царские скарабеи, бронзы Позднего периода, мумии

опознаваемых сановников. Каждая категория сопровождалась пометкой об оценочной стоимости и местом назначения — Лувр, Национальная библиотека или Институт Франции.

— Как в Италии, — продолжил Бонапарт. — Монж и Бертолле знают метод. То, что они привозят со своими формулярами, идёт в Лувр. Солдатские ранцы — тут я ничего не могу поделать. А ваши блокноты остаются во Франции в иной форме. Три уровня. У каждого своя легитимность.

— А если уровни смешаются?

— Они всегда смешиваются. Тем более первый должен быть безупречным. Если Комиссия работает со всей строгостью, всё остальное по сравнению с ней становится терпимым. Таковы все государственные приобретения со времён Возрождения. Франция не грабит. Она отбирает, описывает и сохраняет. Грабят солдаты. Это различие реально, пусть и неудобно.

— А если кто-нибудь его оспорит?

— Пока мы выигрываем войну — никто. Если мы её проиграем… вопрос будет стоять иначе.

Денон спрятал список в сумку. Приказ об отборе, а не о грабеже. Ему хотелось бы, чтобы этого оттенка было достаточно. Бонапарт, чьё время было на счету, уже держал открытой дверь своего кабинета, и Денон вышел, так и не высказав того, что хотел сказать.

Вечером в день выступления колонна, растянувшаяся на целое льё, двинулась на юг по левому берегу Нила. В этот час воздух был уже холодным — сухой холод, без тумана. Пыль, поднятая войском, была видна издалека. Артиллерия двигалась вдоль возделанных полей. Кавалерийские лошади ржали, чуя отправление. Феллахи, стоя на плоских крышах домов, неподвижно смотрели, как проходит колонна.

Денон ехал верхом рядом с Дезе.

— Покок, Норден… Вы их читали, генерал? Приблизительные описания, неточные рисунки. На этот раз мы будем измерять.

— Ваш пыл мне по душе. Но предупреждайте меня, прежде чем отойти от колонны. Мурад-бей по-прежнему не сложил оружия.

Денон вздохнул.

— Понял, генерал. Буду рисовать быстро. Это всё же лучше, чем ничего.

В последующие дни, несмотря на зиму, жара нарастала уже ко второму часу марша. Зелёная полоса вдоль реки была шириной в несколько сотен метров, а за ней начиналась пустыня, внезапная и безраздельная. Солдаты шли молча, с флягой в руке. Денон рисовал на ходу — беглые наброски, силуэты деревень, пальму, профиль известняковой скалы — не останавливаясь, не сбиваясь с шага. Мамелюки донимали колонну набегами и исчезали, ни разу не дав решительного сражения. Южнее, в Сиуте, древнем Ликополе, он осмотрел гробницы, высеченные в скале над городом, со стенами, покрытыми иероглифами и орнаментами такой тонкости, какой он не видел нигде.

Краски сохранились. Красная охра, синева египетской фритты, зелень малахита, жёлтый аурипигмент. Пустыня высушила вокруг них воздух. Он подумал о парижских картинах, потемневших от лаков, угасших за века сырости.

Он зарисовал несколько таких сцен за те немногие часы, что Дезе ему уделил перед тем, как двинуться дальше. Его наброски получались быстро. Он научился схватывать главное за десять минут — скованность фигур, живость того, что они делали.

Так он переходил из одной гробницы в другую, пока колонна устраивала бивак.

Он рисовал во время привалов, а по вечерам — в палатках, при свете факелов, держа блокнот на колене. Офицеры поначалу считали его обузой.

— Ваш учёный держится лучше моих новобранцев, — сказал однажды Дезе одному из своих адъютантов, указывая на Денона, сидевшего на камне во время привала.

— Это потому, что ему есть чем заняться, — ответил адъютант.

25 января 1799 года Денон одним из первых учёных увидел Дендеру, которую в своих записях он называл Тинтирой. Храм, который он сочтёт храмом Исиды, стоял на краю пустыни, у подножия Ливийской гряды, и его громада была видна издалека в сухом воздухе Верхнего Египта.

— Смотрите, — сказал Денон Бельяру, остановившему коня рядом с ним. За монументальными воротами, наполовину засыпанными обломками, открывался храм.

Дезе, который часом раньше с раздражением отклонил просьбу о привале, ничего не сказал. Никто не приказывал остановиться. Офицеры и солдаты сами сошли с дороги. Остались до вечера. Лагерь разбили в соседней деревне Дендера, в трёх четвертях льё от храма. Феллахи смотрели с порогов своих домов, не приближаясь. Они видели, как проходили другие колонны. Эта везла людей с измерительными приборами и тетрадями. Это не успокаивало.

Денон вошёл первым. На пороге он насчитал двадцать четыре колонны высотой около пятнадцати метров, их капители с ликом Исиды — так он её назовёт — смотрели на четыре стороны. Он достал блокнот, затем закрыл его. С чего начать? В городах Европы он всегда это знал. Перед пирамидой, перед отдельной колонной такой вопрос даже не возникал. Здесь же весь зал подчинялся единой логике, и

любая точка входа была бы произвольной. В конце концов он принялся за ближайшую колонну.

— Необыкновенно, — пробормотал за его спиной Бельяр. — Эти драпировки…

Денон рисовал до последнего луча солнца. Жомар, инженер-географ штаба, измерял то, что позволяли часы. Он записывал размеры, углы, ориентации. Пятнадцать метров на колонну, швы столь тонкие, что в них едва проходило лезвие ножа. Потолок, покоившийся на них. Стены, покрытые барельефами. На другом конце зала руки Денона почернели от угля.

— Как они сделали это без наших инструментов? — тихо спросил Жомар.

— Временем. Рабочей силой. И организацией, способной поддерживать усилие десятилетиями, — ответил Бельяр. — Этот храм строился поколениями. Замысел передавался от отца к сыну как священное наследство.

— А звёзды они знали лучше, чем мы знаем их до сих пор, — добавил Жомар, указывая на почерневший от копоти потолок, где угадывались небесные фигуры. — Смотрите. Этот свод — карта ночного неба Древнего Египта.

Ещё днём Жомар заметил одну деталь, которую не занёс в свои замеры. Он записал её вечером, в палатке, в свой личный дневник.

Трое солдат из головного батальона провели вторую половину дня в боковых залах храма. Они не были на службе. Когда они возвращались, один из них нёс в руке фигурку из голубого фаянса. Сидящая кошка с острыми ушами и глазами, инкрустированными чёрным стеклом. Он показывал её товарищам. Они смеялись.

Жомар проводил их взглядом. Фаянсовой кошке было две или три тысячи лет. Её оставил в храме как вотивное приношение ремесленник, чьё имя не сохранилось, ради

молитвы, о содержании которой давно забыли. Меньше чем через три года она окажется в Марселе. Цепочка была короткой. Она не оставляла следов. Жомар подумал о силе тяжести, из-за которой лёгкие предметы всегда падают вниз. Здесь низом был север.

В тот же день во дворе храма трудился гражданин Вассёр, математик Комиссии наук и искусств, прикомандированный к дивизии.

Днём он отобрал шесть предметов по категориям списка Бонапарта. Два скарабея, золотой амулет, фигурка Сехмет — всё в соответствии с критериями списка. Но два предмета выделялись из прочих. Писцовая палетка из сикоморового дерева, с калямами, всё ещё лежавшими в тростниковых футлярах. Дерево почти никогда не сохраняется, так что это была редчайшая вещь. И канопа из алебастра с целой крышкой в виде головы сокола, изображающая Кебехсенуфа, хранителя кишок. Шесть предметов, выстроенных на камне, пронумерованных, снабжённых бирками.

Жомар подошёл от входа во двор. Вассёр заполнял свой бланк при свете дня, не спеша, не таясь. Всё отличие от солдат заключалось в этой бумаге.

— Гражданин Вассёр, — сказал Жомар. — Эти предметы… первоклассные.

— В самом деле. Палетке нет известных аналогов. Калямы целы. Сикоморовое дерево устояло потому, что было завёрнуто в льняную ткань, которую я нашёл в боковом отделении ниши. Две тысячи пятьсот лет сохранности в идеальных условиях.

Он продолжал писать, уткнувшись в лист. Почерк учёного — точный, сокращённый, без украшений.

— Канопа заинтересует химиков для анализа смол, применявшихся при мумификации, — продолжил он. — Я

взял фрагмент внутреннего слоя смолы. Номер этой пробы вы найдёте под шифром сто четырнадцать-В в реестре Комиссии.

Он вписал шестой номер в бланк, расписался, оторвал корешок и протянул его Жомару.

— Опись Комиссии, раздел официальных приобретений. Если хотите копию для дела вашей секции.

Жомар взял бумагу. Форма была безупречной. Он сложил её вдвое и убрал в свою сумку.

Один человек из деревни пришёл посмотреть, как Жомар делает свои измерения. Хасан, переводчик, которого Комиссия взяла в Каире, держался в стороне. Через несколько мгновений человек ушёл.

Он вернулся до заката, сел у колонны и целый час смотрел, как работает Жомар. Потом снова ушёл и почти сразу появился с небольшим глиняным горшком, полным свежей воды. Он поставил его рядом с приборами Жомара.

Жомар выпил. Вода была холодной, чуть минеральной. Он сказал спасибо по-арабски — одно из немногих слов, которые он знал. При посредстве Хасана они обменялись несколькими фразами.

Человек знал названия колонн. Не имена, которые учёные давали божествам этого места, — Исида, Осирис, Гор, — а арабские названия, передававшиеся от отца к сыну на протяжении поколений. Колонна северо-восточного угла называлась в деревне «колонной, что кровоточит в разлив», потому что трещина в известняке иногда пропускала красноватую, насыщенную железом воду во время разливов Нила. Центральная колонна называлась «колонной голоса», потому что, если ударить по ней раскрытой ладонью на определённой высоте, она издавала низкий звук, разносившийся по всему залу.

Жомар записал оба названия. Он знал, что в *«Описании»* их не будет. У них не было измеримой ценности. Но они говорили о том, о чём не говорили его собственные измерения, — что этот храм давно жил в памяти деревни. Это были не руины. Это был сосед.

Четыре месяца спустя, в мае, Денону предстояло вернуться в Дендеру. Он выедет тогда из Кены, где дивизия устроила свои квартиры, с эскортом из тридцати человек, со свечой и своими блокнотами. Он хотел наконец зарисовать зодиак верхней часовни, который лишь мельком увидел в январских сумерках.

Часовня Осириса, небольшой зал, куда вела лестница, устроенная в толще стен, находилась на крыше храма. Потолок был низким, а свеча давала лишь скудный оранжевый свет. Он лёг на холодный камень. Над ним, вырезанная в песчанике, простиралась карта неба — диск, вписанный в блок со стороной два с половиной метра. В центре — приполярные созвездия, Большая Медведица в виде передней ноги быка, богиня-гиппопотам, потрясающая гарпуном. По окружности — двенадцать знаков греческого зодиака, смешанных с египетской иконографией, с Овном, Тельцом, но также и с Водолеем, изображённым как Хапи, бог разлива, держащий два сосуда, из которых лился Нил.

Этот потолок нельзя было унести целиком. Несколько тонн песчаника, вмурованных в свод. Перед отъездом, в Кене, Денон поставил этот вопрос перед Жомаром, самым изобретательным умом штаба. Жомар видел зодиак в январе глазами скорее техника, чем художника.

— Это осуществимо, — сказал он, разворачивая набросок Денона. — Но не с тем, что у нас есть. Понадобятся пилы с зубьями из закалённой стали, винтовые домкраты, негашёная известь, подъёмные леса высотой в двадцать метров. Шесть недель работы как минимум, с двадцатью

людьми. И специально оборудованное судно для перевозки блока. Несколько тонн — обычные трюмы не годятся.

— Стоил бы результат таких усилий?

Жомар снова посмотрел на набросок, его глаза пробегали по диску от созвездия к созвездию.

— Это самое полное изображение древнего неба, какое я когда-либо видел. Да, оно стоит усилий. Но не сейчас. Может быть, через тридцать лет, если кто-нибудь вернётся с оборудованием и временем.

Денон записал этот разговор в меморандуме, адресованном научному штабу. Это был первый официальный документ, где рассматривалось извлечение зодиака. Он отправится в Каир и будет лежать в ящике, ожидая средств, которых у армии не было.

Он рисовал два часа, лёжа на спине. Его свеча погасла. Он зажёг другую. Когда он спустился, наступала ночь, и солдаты уже час как теряли терпение.

— Вы получили, что хотели? — спросил его младший лейтенант.

— Первый рисунок. Боюсь, местами неверный. Для настоящей съёмки понадобятся другие руки.

Денон сообщил научному штабу о необходимости прислать инженеров, чтобы завершить его работу. Двое молодых политехников, Жолуа и Девилье, из миссии главного инженера Жирара, — первый из них уже находился в Верхнем Египте, — закончат съёмку своими точными приборами.

Но это был лишь первый вечер. В тот день, 25 января, Жомару понадобилось уладить вопрос о реквизиции пайков. Он отправился искать сержант-майора Обера, человека, ведавшего интендантством головного батальона. Он нашёл его в палатке в стороне от основного бивака — тот сидел за небольшим столом с фонарём и тетрадью.

Обер вёл список, разделённый на три колонки с заголовками «предмет», «рота», «солдат». Строчки шли плотно. Жомар прочёл со своего места, делая вид, что не смотрит, и запомнил такие строки. «Фигурка из голубого камня, 2-я рота, Расин. Фрагмент барельефа, 3-я рота, Дюплесси. Фаянсовый скарабей, 1-я рота, Марен. Расписной глиняный горшок, 4-я рота, Лефевр». Строк было больше восьмидесяти.

Обер, казалось, не удивился тому, что за ним наблюдают.

— Гражданин учёный. Могу я что-нибудь для вас сделать?

— Дополнительные пайки… для нарядов на измерениях. Ничего срочного.

Жомар не задал вопросов о списке. Он знал, что это — неофициальная опись, никем не приказанная и никем не запрещённая, которую вёл унтер-офицер, понявший, что в его батальоне что-то ходит по рукам, и решивший на всякий случай об этом знать. Если бы кто-нибудь позднее стал задавать вопросы, Обер сумел бы ответить. А если бы никто вопросов не задал — что было вероятнее, — список остался бы в его тетради.

Он уладил дело с пайками тремя фразами и ушёл.

В ту ночь Жомар не стал переписывать набело свои измерения. Он взялся за другое.

Он начал с того, что знал наверняка. В списке сержант-майора Обера числилось по одной только 2-й роте двадцать три предмета за один день. Четыре роты в батальоне, и более восьмидесяти строк в списке по одному лишь головному батальону. Два пехотных батальона, сменявших друг друга в храме. Плюс офицеры, которые брали иначе. Разборчивее, меньше числом, зато вещи большей ценности. Плюс официальные приобретения Вассёра. Шесть

задокументированных предметов, другие, возможно, без формальной документации.

Он составил оценку. Консервативное допущение — двадцать предметов на роту за послеполуденный привал. Четыре роты. Два батальона. Это давало не менее ста шестидесяти предметов с одного только этого храма. Если добавить покупки у местных жителей и то, что офицеры собирали втихомолку, выходило около двухсот.

Двести предметов, покидающих Дендеру. Он всмотрелся в эту цифру. Потом посмотрел на храм, видневшийся в ясной ночи в трёх четвертях часа ходьбы от бивака. Храм был огромен. Двести предметов были лишь долей того, что в нём ещё оставалось. Но правильный подсчёт был другим — число привалов в числе храмов, умноженное на двести.

Между Дендерой и Асуаном было не меньше двенадцати крупных памятников. Внизу страницы он написал эти строки. «Общая оценка по всей кампании, порядок величины — две тысячи пятьсот предметов. Нижняя граница. Проверке не поддаётся».

Затем он задержался на только что написанном. Две тысячи пятьсот. На странице цифра ничего не весила. И всё же она обозначала две тысячи пятьсот предметов, которые веками находились в египетском храме или гробнице и которых там не будет через полгода.

Навьючивая мулов, он искал глазами солдата, державшего в руке фаянсовую кошку. Среди тысяч лиц он его не нашёл. Человек существовал. Кошка существовала. Где-то внутри этой цифры в две тысячи пятьсот.

Перед отъездом из Дендеры Жомар пошёл к Вассёру.

Вассёр наблюдал за заколачиванием своих ящиков. Он прервался, держа гвоздь в пальцах.

— Гражданин Вассёр. Я сделал оценку. Объём изъятий — с этого храма и за всю предстоящую кампанию.

Он протянул блокнот, раскрытый на странице с расчётом. Вассёр прочёл. Он не спеша проверил допущения и мысленно проделал вычисления заново.

— Ваша нижняя граница разумна, — сказал он наконец. — Для офицеров слегка занижена.

— И эта цифра не кажется вам проблемой?

Вассёр вернул ему блокнот.

— Я нахожу эту цифру верной или близкой к действительности. Проблемой для кого? Для Комиссии? Нет. Наши приобретения задокументированы. Для армии? Судить об этом Дезе. Для этого храма? Несомненно. Но здесь брали и греки, и римляне. Мы не первые, а Египет всё ещё стоит.

— Это не довод.

— Нет. Это контекст. И в этом контексте вопрос лишь в том, оправдано ли то, что делаем мы — Комиссия. Я думаю, что да. Что до остального, я не полицейский и не судья.

— Вы математик. Математик не говорит, что расчёт оправдан. Он говорит, верен ли он.

— Наши расчёты верны, — ответил Вассёр, уже вернувшись к своим ящикам. — Архивы, описания, предметы для Лувра.

— Именно этого просил Бонапарт. А я бы просил не этого.

Наутро, на рассвете, Дезе подал знак выступать. Жомар убрал свои инструменты. Денон долго оглядывался на храм.

— Если мы когда-нибудь вернёмся сюда в мирное время… — сказал Жомар. — Полгода. Один этот храм заслуживает полугода.

Жомар сюда не вернётся. Денон же пройдёт здесь снова лишь в мае, всего на несколько дней. Их рисунки останутся.

Дорога к Фивам два дня тянулась вдоль Нила. Вечером, на биваке, офицеры начинали говорить о храмах, которые им

предстояло увидеть. Карнак. Луксор. Названия переходили от костра к костру — названия, слышанные всю жизнь.

II – Фивы

27 января, под вечер, дивизия Дезе вышла к руинам Фив. Армия остановилась сама собой. В тот вечер Денон успел лишь сделать наброски, не слезая с коня. Остальное ждало утра.

Жомар спустился на берег и больше не двигался с места, глядя на чёрные пилоны в закатном свете по ту сторону Нила.

На следующий день, переправившись через реку на реквизированных лодках, они увидели Карнак, превосходивший всё, что они могли вообразить. Гипостильный зал храма Амона-Ра насчитывал сто тридцать четыре колонны, двенадцать центральных — высотой в двадцать один метр. Жомар переступил порог и замер на несколько минут. Площадь этого зала составляла около пяти тысяч двухсот квадратных метров — одно из самых больших крытых пространств Античности.

— Я никогда не смогу это нарисовать, — пробормотал Денон. — Никто не сможет.

В ночь после первого дня в Карнаке Жомар расположился во дворе храма с фонарём и начал приводить в порядок цифры. Зал был сделан огромным не только ради славы фараона. В нём нужно было разместить процессию, толпу, ритуал. Каждый размер отвечал требованию акустическому, световому, литургическому.

Его заметка уместилась в несколько фраз. «Правильность пропорций в этом зале наводит на мысль о системе мер, передаваемой на протяжении нескольких поколений с абсолютной точностью. Длина зала примерно вдвое больше ширины. Расстояние между центральными

колоннами соответствует их диаметру. Эти соотношения не случайны».

Снаружи где-то в пустыне залаял шакал. Звёзды над колоннами были очень яркими.

И вдруг, поворачиваясь с теодолитом, чтобы записать азимут опорной звезды, он понял то, что не собирался понимать. Понимание пришло не как завершение доказательства. Оно пришло разом, почти как головокружение, как бывает, когда долгий расчёт приводит к круглому числу и ты знаешь, ещё не проверив, что он верен.

Главная ось храма — ось, соединяющая вход с самым внутренним святилищем, — была ориентирована под углом в двадцать шесть градусов к югу от востока. Он проверил расчёт дважды. Двадцать шесть градусов. Эта цифра была в его замерах с самого утра, записанная машинально, как одна из многих величин. Но теперь, в темноте, под звёздами, он понял, что она означает.

Это был азимут восхода солнца в день зимнего солнцестояния на широте Фив.

Несколько секунд он оставался неподвижным. Насколько он знал, никто ещё не формулировал этого результата, и он хотел убедиться, что не ошибается, прежде чем записать его.

Храм был также астрономическим инструментом, ориентированным так, чтобы утром самого короткого дня года свет восходящего солнца входил в святилище и проходил по оси до большого гипостильного зала.

Он лихорадочно написал в дневнике записку на несколько страниц, подробно излагая расчёт и измерения вплоть до вывода. Он отправит её в Каир, Фурье, с первой же почтой. Самый строгий из математиков Комиссии сумеет проверить. Ответ придёт месяц спустя, всего две строки. «Ваш расчёт верен. Занесите его для публикации».

В два часа ночи Жомар вернулся в лагерь, через пять часов после того, как покинул свою палатку. Его руки слегка дрожали, пока он сворачивал листы тетради, и не от холода. Обычно его открытия подтверждали гипотезу. В эту ночь впервые гипотеза родилась из самого измерения, хотя он её и не искал. Он лёг спать, не снимая сапог.

Денон посвятил день обходу комплекса Карнака — десять часов подряд, зная, что времени у него в обрез. Сорокаметровые пилоны были покрыты барельефами с фараонскими битвами. Обелиски из розового гранита, монолиты, доставленные из Асуана, за двести километров к югу, стояли строго отвесно. Один из них, воздвигнутый царицей-фараоном Хатшепсут из восемнадцатой династии, поднимался на двадцать девять с половиной метров. Его грани покрывали вертикальные столбцы тонко вырезанных иероглифов, не поддающихся прочтению.

Они были повсюду — на колоннах, на стенах, на саркофагах. Денон перерисовывал их целыми рядами, медленно водя карандашом и не читая ни одного знака — этого не мог никто.

В большом дворе Карнака Денон расположился перед рядом барельефов, изображавших животных, подносимых в качестве дани. Лев, жираф, обезьяны, антилопы. Он копировал виды с точностью рисовальщика, отмечая те, что в Египте больше не водились.

— Взгляните-ка на этого льва, — сказал он проходившему мимо Жолуа. — Череп не такой, как у льва из Африки южнее Сахары — профиль более плоский, грива длиннее, прямо портрет. Либо скульптор ошибся, либо львы Древнего Египта составляли отдельную популяцию. Я бы поставил на второе.

Жолуа посмотрел на барельеф, потом на Денона и пошёл дальше. Денон не ждал ответа. Он уже пририсовывал на полях вторую гриву.

В другую ночь Жомар работал над своими замерами Карнака, когда услышал шум.

Глухие размеренные удары, скрежет чего-то тяжёлого по плитам — шум работы, а не боя. Он взял фонарь.

В зале трое солдат работали при свете двух факелов. Они опустошили нишу с обломками статуй — головами божеств, руками, бюстами — и сортировали их на плитах на две кучи, отдельно те, что стоило нести, отдельно слишком тяжёлые. Один из них держал обеими руками голову сокола из чёрного гранита, вероятно Гора, с глазами, инкрустированными тёмным материалом, какой при свете факела не удавалось определить. Он вертел её, пытаясь прикинуть вес.

Жомар не прошёл дальше входа в зал. Власть члена Комиссии позволяла ему запретить несанкционированные изъятия. Он мог бы вмешаться. Он этого не сделал. Их было трое, в батальонах Дезе их было три тысячи, один человек с фонарём ничего бы не остановил, а к жестам ради принципа у него не было вкуса. Он прикрутил фитиль и отступил в темноту.

После полудня во дворе, на севере комплекса, Жолуа сделал открытие. Обломки барельефов двенадцатой династии, разбросанные среди развалин, обнаруживали совершенно иной стиль — мельче, интимнее, фигура царя менее иератична и более человечна. На лице одного из этих царей читалась усталость, какой ни один фараон великих династий не потерпел бы на своих памятниках.

— Посмотрите на глаза, — сказал Жолуа Денону, который рисовал уже час. — Я никогда не видел такого… Усталого фараона. — Он помолчал. — Усталость власти.

Денон перестал рисовать. Жолуа был прав. Он начал лицо заново, сделав веки тяжелее.

29 января дивизия вновь двинулась на юг и остановилась на две ночи в Луксоре, в трёх километрах дальше. Денон и Жомар добились разрешения задержаться после её ухода с конвоем, чтобы затем нагнать её форсированным маршем. Храм Аменхотепа III и Рамсеса II. Аллея сфинксов, соединявшая два храма, была погребена под песком и домами выросшей на ней деревни.

Денон зарисовал большую колоннаду, что вела от входного двора к внутреннему святилищу. Четырнадцать папирусовидных колонн высотой девятнадцать метров, с изяществом, говорившим об утончённости восемнадцатой династии. На стенах были барельефы процессии Опет — статуя Амона, ежегодно переправляемая на барке из Карнака в Луксор. Он перерисовал сцену на нескольких листах.

На входном пилоне другие барельефы изображали битву при Кадеше между Рамсесом II и хеттами. Шестьдесят пять метров в ширину, покрытые от земли до высоты десяти метров сценами поразительной динамики. Исход битвы оставался спорным. Рамсес едва не оказался в окружении, прежде чем сумел прорваться. Пилон показывал лишь триумф, высеченный на такой высоте, где никто не придёт его исправлять.

Перед пилоном стояли два обелиска. Те самые, один из которых Мухаммед Али подарит Франции в 1830 году. Этот обелиск доплывёт до Парижа в 1833 году на специально построенном судне и будет установлен на площади Согласия в 1836 году. Денон смотрел на него в 1799 году, не зная, что тот окажется там. Он записал его размеры, надписи, картуши, повторявшиеся на всех четырёх гранях.

Дезе, проезжавший мимо с головой колонны, остановился перед обелисками. Он запрокинул голову к вершине

первого, в двадцати пяти метрах над ним, затем перевёл взгляд на Денона, рисовавшего рядом.

— Эти вертикальные колонны — их можно взять?

— Это обелиски, генерал. Гранитные. Около двухсот тридцати тонн каждый.

— С рекой внизу и рычагами египтяне ведь справились.

— Три тысячи лет назад, и по течению, с юга на север, по разливу. Чтобы доставить их во Францию, понадобилось бы специально построенное судно. Ничто из того, что есть у нас в Средиземном море, на это не способно.

Дезе ещё раз взглянул на обелиск.

— Кто-нибудь найдёт способ. Но не сразу.

Он вновь сел в седло и вернулся к своему штабу.

В боковых залах луксорского храма, там, где грабители поработали ещё до них, Денон нашёл то, что оставили торопливые кладоискатели. Обломки бронзовых статуэток, ступни, руки и целое лицо Осириса из позолоченной бронзы высотой пятнадцать сантиметров. Лицо хранило безмятежность, свойственную бронзам Позднего периода. Миндалевидные, слегка наклонённые глаза, тонкий рот, плетёная накладная борода. Металл был отлит по выплавляемой модели, затем обработан резцом. Брови и контуры глаз были инкрустированы тонким золотом, зрачки из чёрного стекла.

Бронзы этого типа изготавливались сериями начиная с седьмого века до нашей эры. Тысячи вотивных фигурок, приносимых верующими в храмы в обмен на божественное покровительство. Эти предметы никогда не принадлежали отдельному человеку. Они были дарами богу, собственностью храма. Опустошая кладовые, грабители брали у Амона, а Амон ни к кому не предъявлял требований.

Денон поднял лицо Осириса, перевернул его. На обороте была строка иероглифов, вырезанных резцом, вероятно, имя дарителя. Он скопировал знаки. Затем убрал вещь в сумку. При этом он подумал о списке Бонапарта. Лицо Осириса из позолоченной бронзы, бесспорно, относилось к первой категории. Ему следовало заявить о нём, чтобы оно отправилось в Каир, в официальные коллекции, реестр которых вёл Фурье. Он этого не сделал. Со времён Дендеры граница между тем, что он брал для Комиссии, и тем, что оставлял себе, стёрлась незаметно для него самого. Около тридцати записей в его личной описи. Столько же предметов, которых полгода назад ещё не было ни в одном европейском реестре.

Это было не то же самое, что красть. Он был почти уверен в этом.

Тем вечером Жомар ещё час простоял перед фасадом храма. Карнак строился две тысячи лет, и каждый фараон добавлял пилон, аллею, зал, без разрыва стиля и без пересмотра замысла. Египет совершил то, чего Европа так и не сумела, — передал архитектурный замысел из поколения в поколение, и никто не решал, когда ему конец.

А теперь солдаты уносили куски этого замысла в своих мешках, между котелком и сменной рубахой, — без умысла вандалов, надо думать. Фрагменты, уходившие в Париж или в частные коллекции офицеров, выпадали из этой цельной системы и становились диковинками, сувенирами.

Перед уходом Жомар записал вот что. «Карнак — это система. Каждый элемент занимает своё место в целом. Перемещение элемента не разрушает Карнак, но разрушает этот элемент как часть системы. В другом месте он станет чем-то иным — предметом, экспонатом коллекции — и перестанет быть здесь чем-то определённым».

Выходя из Луксора тем вечером, Денон заметил пожилого человека, сидевшего у входа в храм. Он был в белой галабее

и смотрел на солдат, уносивших блоки во дворе. Он не выглядел рассерженным. Это было лицо человека, который смотрит на то, что уже видел прежде.

Денон остановился. Хасан окликнул старика. Они обменялись несколькими словами.

— Он говорит, что его отец был сторожем этого храма. И дед. И прадед. Он не знает, сколько поколений. Он говорит, что приходили османы. Приходили мамелюки. Теперь здесь французы. Каждый раз они берут камни.

Денон попросил Хасана перевести его ответ. Французы пришли изучать, а не разрушать. Хасан перевёл. Старик возразил, что османы тоже говорили, будто пришли по другим причинам. И всё равно брали.

Денону нечего было ответить. Он нарисовал старика со спины. Белая галабея, гранитный блок, солдаты во дворе позади него.

Чего Денон не видел за этой сценой, так это того, чем занимался Хасан после официальных рабочих часов.

Хасан был официальным переводчиком Комиссии, египтянином из Каира, быстро понявшим, что его положение открывает ему оба мира. Он переводил феллахам вопросы учёных. Куда менее охотно он переводил то, что феллахи говорили между собой о том, чего учёные на самом деле хотят.

Жомар понял это после первой недели. Хасан облегчал учёным покупки у местных торговцев и попутно брал свою долю. Жомар оценивал её в пятнадцать процентов. Ни продавцы, ни покупатели не знали, что и другой конец сделки тоже проходит через его руки.

Однажды ночью в Карнаке Жомар встал и пошёл за Хасаном на расстоянии. Тот пересёк главный бивак к участку, где размещались старшие офицеры, остановился перед палаткой, вполголоса обменялся несколькими словами со

слугой. Слуга вошёл в палатку и вышел с двумя офицерами, полковником и штабным капитаном. Хасан раскрыл холщовый мешок. При свете масляной лампы он разложил на сложенном ковре четыре предмета, красивее тех, что показывал днём унтер-офицерам. Царский скарабей из лазурита, редкий и тяжёлый. Чаша из полупрозрачного алебастра. Статуэтка Птаха из синего фаянса, десять сантиметров. Амулет из цельного золота, изображающий сидящую Бастет.

Офицеры осмотрели вещи. Полковник торговался. Хасан уступил в цене с лёгкостью, показывавшей, что он с самого начала заложил наценку. Четыре вещи перешли из рук в руки. Хасан убрал деньги, не пересчитывая.

Жомар вернулся в лагерь незамеченным. Утром он спросил Хасана напрямую.

— Я видел, — сказал Жомар. — Этой ночью. Офицеров, ковёр, четыре вещи.

Хасан не выглядел смущённым. Он ждал продолжения.

— Откуда они?

— Из Курны. Человек, который ночью переправился через Нил. Он знает гробницы, куда французы ещё не заглядывали. Он продаёт то, что находит, уже много лет.

— А ваши комиссионные? Сколько?

— Десять процентов. Офицеры платят больше, чем солдаты, штаб — больше, чем строевые.

— А днём, с того, что вы продаёте учёным? Я насчитал пятнадцать.

— Пятнадцать, да. Берём объёмом. Они хотят продать, вы хотите купить… Гробниц я не копаю. Я перевожу цены.

Хасан ушёл. Он был из Каира, сын переписчика при шариатском суде, грамотный по-арабски и достаточно знавший французский, чтобы работать на этих людей. Он

взялся за эту работу, потому что она хорошо оплачивалась и потому что французы, как и другие до них, здесь не останутся.

Чего Хасан не сказал Жомару, так это того, что двумя днями раньше он вошёл в большой зал храма Карнака один, на заре, прежде чем учёные встали.

Он никогда не видел Карнака до этой экспедиции. Его предки не строили всего этого. Ключа к этим иероглифам у него было не больше, чем у Денона. Но никто не требовал от него их расшифровывать. От него требовали переводить цены.

III – Долина царей

29 января Жомар первым переправился через Нил на западный берег. Он попросил выступить до рассвета, чтобы побыть на месте одному, пока армия не пришла в движение.

Фиванский некрополь тянулся на несколько километров по гористой пустыне. Жомар знал его по рассказам Покока и Нордена, но эти описания не подготовили его картографический глаз к действительности местности. Это была известняковая долина, вырубленная в скале, в пяти километрах от реки, где каждое отверстие в породе отмечало вход в гробницу. Десятки видимых отверстий. Наверняка и другие, ещё скрытые под песком.

Он взобрался на скальный уступ, возвышавшийся над входом в долину. Оттуда он видел всё. Отверстия гробниц в скале, карьерные тропы, следы древней разработки этой породы. Фараоны отказались от пирамид ради гробниц, высеченных здесь, которые считали более неприметными. Грабители всё равно их нашли и почти все опустошили ещё в древности. Оставались скала и углы, которые никто не смог украсть. Жомар установил треногу своего теодолита между двумя камнями.

Он применял то, что называл «полевой триангуляцией».

Из центральной точки последовательно визировать теодолитом все различимые ориентиры, записывать углы, вычислять расстояния от базы, измеренной на земле. В то утро он работал с рассвета без перерыва. Около семи часов солдат принёс ему наверх паёк. Жомар поблагодарил его, не отрываясь от окуляра, и хлеб так и остался лежать на камне. Жолуа работал иначе. Там, где Жомар искал углы и расстояния, Жолуа искал соотношения — что одна величина говорила о другой, что пропорция выдавала о замысле. В его тетрадях не было столбцов цифр, как у Жомара, а были наброски с пометками, дроби, отсылки от одного памятника к другому. И всё же оба вышли из одной школы.

Ниже, вне поля зрения Жомара, проводники из Курны водили Денона и Жолуа от гробницы к гробнице.

Феллахи Курны из поколения в поколение знали каждый вход в Долину царей. Их деревня была построена на самих гробницах. Дома стояли на гипогеях, дети росли над покойниками минувших династий. Они негласно разрабатывали гробницы веками, продавая находки торговцам из Каира и редким европейским путешественникам, осмеливавшимся забраться так далеко. Торговля была скромной, непрерывной, уравновешенной риском привлечь внимание османских властей.

Приход французов нарушил это равновесие.

Учёные хотели увидеть всё и сразу. Они требовали проводников к гробницам, которых никогда не нашли бы сами. Ведя Денона и Жолуа, люди Курны открывали входы, которые они остерегались показывать властям. После прохода французов эти гробницы оказывались «открытыми», известными, нанесёнными на карту, и скрытность, которую грабители хранили веками, исчезала за несколько дней.

— Мы создаём собственный рынок, — сказал Жолуа. — Армия, тетради… и грабёж, который мы застаём по прибытии, идёт быстрее.

— Полноте, грабим-то всё-таки не мы, — сказал Денон.

— Я этого не говорил. Но такими темпами… То, на что у них уходил век, займёт у них десять лет.

Денон и Жолуа спустились в гробницы с проводниками. Коридор уходил вниз крутым склоном, настолько узкий, что местами приходилось ползти, упираясь локтями в известняковую пыль. Воздух становился холоднее, потом неподвижным — воздух, не двигавшийся веками и, казалось, сопротивлявшийся входу. Они вышли в переднюю камеру со стенами, покрытыми росписями поразительной свежести.

Жолуа угадывал сцены, которые позже назовут *Книгой Амдуат* и *Книгой Врат*. Он читал Кирхера до отъезда. Каждый час ночи соответствовал испытанию, каждое испытание — богу-стражу. Он рисовал, не понимая. Он отмечал соответствия на полях своих замеров.

— Великолепно. И я ничего в этом не понимаю, — сказал Жолуа, ставя лампу. — Анубис с головой шакала, ладно. Исида с крыльями. А остальное… эти жесты… Листаешь энциклопедию без ключа.

Они осмотрели семь гробниц за один день. Самой впечатляющей была гробница Рамсеса III, которую Брюс посетил тридцатью годами раньше. Длинные коридоры уходили глубоко под землю, и каждый зал соответствовал часу ночного путешествия солнца в загробном мире — погребальный календарь, высеченный в скале.

Росписи этой гробницы остановили Денона как вкопанного. Он видел Сикстинскую капеллу, Рафаэля в Италии. Эти росписи им не уступали и ничем на них не походили. Линейное изящество, уверенность штриха, палитра из

шести цветов, создававшая впечатление, будто она вмещает их все.

— В Париже вешают вещи, где штрих менее уверен, — сказал Жолуа.

В погребальной камере ещё стоял саркофаг из красного гранита, украшенный религиозными сценами. Слишком тяжёлый для древних грабителей.

— Посмотрите на иероглифы, — сказал Денон, не отрывая глаз от саркофага. — Каждый знак вырезан словно ювелиром. Это было последнее, что должен был видеть покойный.

— Они мыслили смерть как путешествие. Испытания, врата, стражи… Наши богословы никогда не придумывали ничего столь сложного, а уж они, видит Бог, старались.

— Другие поймут, — ответил Жолуа. — Чтобы проверить, им понадобятся наши копии.

В третьей гробнице за день, за пределами долины, на склоне холма Курны, где покоились частные лица, — в скромной камере, вероятно, чиновника среднего ранга — Денон нашёл на полу частично развёрнутый папирусный свиток. Грабители оставили его — ни золота, ни немедленной рыночной ценности. Он поднял его осторожно. Папирус был сухим, ломким по краям, но сердцевина свитка уцелела. Он развернул его на колене.

Свиток имел сорок сантиметров в высоту и более двух метров в длину. Он был покрыт столбцами чёрных иероглифов, с иллюстрированными виньетками, выполненными красными и охристыми чернилами, среди которых были весы, на одной чаше которых лежало перо, а на другой человеческое сердце; человек на коленях перед сорока двумя судьями; Анубис с головой шакала, держащий скипетр уас. Это было то, что позже назовут сто двадцать пятой главой *Книги мёртвых*. Психостасия, суд над душой.

Денон не умел читать этот текст — тогда этого не умел никто, — но узнал виньетки, потому что видел их на других стенах. Он аккуратно свернул папирус и завернул его в льняной носовой платок. В Париже его изучит Марсель — то, для чего папирус вовсе не предназначался. Денон спрятал свёрток на дно своей сумки.

В четвёртой гробнице за день Денон нашёл второй папирус. Он был больше первого. Денон наклонился, чтобы взять его.

Солдат эскорта оказался там раньше него — или почти. Они увидели папирус одновременно, но солдат сделал шаг, пока Денон ещё прикидывал, и его рука уже лежала на свитке. Секунду они смотрели друг на друга. Затем Денон взял папирус из рук солдата. Не резко, но и без колебаний. Он сказал лишь : «Комиссия по наукам и искусствам». Солдат разжал руку. Возразить ему по-настоящему было нечего.

Комиссия по наукам и искусствам была законной властью. Денон имел право изымать научные документы.

Солдат вышел из камеры. Денон остался один с факелом и пустой нишей. Его жест был законным, быстрым, решительным, ни с кем не согласованным, — и он повторил жест солдата. Рука, протянутая к предмету, который ему не принадлежал, мгновенная оценка стоимости, захват. Разница была лишь в названии, которое давали этому жесту в зависимости от того, кто его совершал. Он вышел из камеры, не оборачиваясь. В его личном дневнике осталась одна-единственная строка : «Взял папирус раньше солдата».

Солдат, со своей стороны, не ушёл с пустыми руками. Он вернулся в камеру и подобрал то, что оставил Денон. Три разбитых фаянсовых амулета, обломок позолоченного картонажа, известняковый осколок с росписью, на котором ещё читался глаз уаджет. Вещи второго сорта, которые Денон не счёл достойными своей сумки. Солдат сунул их в свою и спустился, насвистывая.

В полдень Жомар спустился со своего уступа и подошёл к Денону.

— Ваша гробница в Курне находится в ста тридцати двух метрах к востоку от точки, которую я принял за вершину скалы.

— И это полезно? — спросил Денон, стирая с рук известняковую пыль.

— Когда кто-нибудь захочет раскопать эту долину, моя карта подскажет ему, с чего начать. Пока никто не знает, сколько гробниц ещё скрыто под песком.

Денон взглянул на столбцы цифр в записной книжке Жомара, не понимая расчётов.

— Вы уже думаете о тех, кто придёт после нас?

— С самого первого дня. Мы не сделаем всего. Пусть они хотя бы смогут продолжить с того места, где мы остановимся.

Вернувшись в лагерь, Жомар думал не о гробницах Долины царей, а о грабеже.

Он видел, как одновременно действуют четыре разные логики. Проводники из Курны эксплуатировали гробницы, которые учёные заставляли их открывать, и давняя торговля разгонялась под напором нового спроса. Солдаты подбирали всё, что могли унести, без организации, без критерия. Офицеры покупали — осмотрительно, на честные деньги. Комиссары изымали властно, методично, с документацией. И он сам — со своими измерениями. И Денон — со своими записными книжками и сумками.

Все четыре приводили к одному и тому же результату. Предметы, прежде бывшие в Египте, теперь там отсутствовали. Больше, чем количество, его тревожило отсутствие чёткой границы между законным и незаконным. Комиссия имела полномочия собирать научные образцы, но никто эти полномочия не определил. Они не гласили, что

можно брать. Они гласили, что здесь находятся ради науки, а решала наука.

В дневнике он записал : «Различие между коллекционированием и грабежом есть различие цели, а не действия. Мы собираем для Парижа. Они грабят для себя. Долина царей разницы не делает». Он сунул дневник под свои пожитки и никому об этом не сказал.

На равнине, у подножия скалы, Дезе остановился перед поверженным колоссом Рамсеса II. Безмятежное лицо смотрело в небо. На груди были высечены надписи, провозглашавшие его титулы : Владыка вселенной, Господин двух земель.

— Этот Рамсес повелевал десятками тысяч людей, — сказал Дезе. — Он строил для вечности. А теперь вот он лежит в песке со сломанным носом.

Жолуа положил свою землемерную цепь и осмотрел статую взглядом инженера.

— Асуанский гранит. Двести километров к югу. Необработанный блок добыли там, сплавили до Фив по разливу, изваяли здесь. Это гора пришла к храму.

30 января, до рассвета, Жомар и Денон ждали перед колоссами Мемнона, когда взойдёт солнце. Первые лучи коснулись камня. Ничего не произошло. Колосс уже почти шестнадцать веков как не пел. Они переглянулись.

— Он больше не поёт, — сказал Жомар. — Говорят, он умолк, когда один римский император велел его починить. Вероятно, камень, расширяясь от внезапного утреннего тепла, заставлял вибрировать свои трещины. Физическое явление, не более того.

— Несомненно. Но у паломников, которые его слышали, не было вашего теплового объяснения. Для них статуя

говорила. Попробуйте отнять у них это с термометром в руках.

Дезе зашёл взглянуть на колоссов ранним утром и некоторое время рассматривал бесстрастные лица.

— Впечатляет, — сказал он. — Мамелюки занимают меня больше. Колонна снимается с лагеря сегодня вечером. Догоните нас, когда закончите. И он ушёл.

Жомар остался перед колоссами Мемнона и после ухода Дезе. Восемнадцать метров кварцита, восседающих на равнине, без храма вокруг, без видимого архитектурного контекста, посреди пустоты — и всё же видимых за пять километров. Вот чего не могли унести ни солдаты, ни торговцы из Курны и что имело смысл только здесь, в этом самом пейзаже.

Переносные предметы разрывали эту связь в тот самый миг, когда их брали. *Ушебти* из фаянса в гробнице Долины царей был на своём месте. Его изготовили, чтобы он находился там, чтобы сопровождать именно этого покойника в этом самом путешествии.

Затем он убрал записную книжку, взял инструменты и спустился обратно к лагерю. Позади него колоссы по-прежнему смотрели на восток.

IV – Асуан

Дезе же ждать не стал. Уже вечером 30 января он приказал сниматься с лагеря, и Денону, оставшемуся позади с Жомаром и Жолуа, пришлось закрыть свои фиванские папки, чтобы форсированным маршем догнать колонну, что им и удалось 31-го. Девилье предстояло пройти этот путь лишь позднее.

Колонна двинулась вверх по реке к Асуану, за двести километров к югу. Пейзаж становился всё теснее.

По мере продвижения на юг население менялось. Нубийцы с более тёмной кожей постепенно сменяли арабов-феллахов. Менялись и культуры. Дурра, африканское сорго, вытесняла пшеницу. Дома становились ниже, их строили из необожжённого кирпича, фасады были без окон. Французская армия проходила через область, куда со времён римлян не доходила ни одна европейская армия.

Жители деревень смотрели на проходящую колонну с плоских крыш. Они не бежали. Они наблюдали. Феллахи Верхнего Египта за века научились ждать, пока пройдут армии. Они знали, во что обходится сопротивление и чего стоит сотрудничество, и не предлагали ни того, ни другого. Жолуа отметил это различие в своей записной книжке, не сходя с коня.

Колонна увозила предметы с самого начала. Жолуа понял это, наблюдая за вьючными животными. При выходе из Фив мулы несли пайки, лагерное снаряжение, ящики с боеприпасами. Два дня спустя те же мулы несли дополнительный груз. Холщовые мешки, наспех сколоченные деревянные ящики, привязанные сверх положенного. Солдаты сами смастерили их на вечерних биваках.

Однажды после полудня Жолуа остановился возле особенно нагруженного мула. Холщовый мешок был плохо завязан. Из него торчал угол резного известняка, фрагмент барельефа примерно шестьдесят на сорок сантиметров, изображавший нижнюю часть фигуры в процессии. Низ одеяния, ступни, нижний конец скипетра. Он узнал стиль. Птолемеевская эпоха, вероятно, вторично использованный блок с этого же памятника.

Солдат, который вёл мула, заметил его взгляд. Он не спеша затянул мешок и двинулся дальше.

— Египет уходит на север на спине мула, — сказал Жолуа Денону на биваке.

— Часть Египта. Самая лёгкая.

— И самая удобная для переноски. Именно это решает, что уходит и что остаётся. Не ценность. Не историческая значимость. Вес.

Жомар, ехавший рядом с ними, на мгновение задумался.

— Это значит, что история Египта, которую увидит Париж, будет историей того, что весило меньше двадцати килограммов. Всё остальное останется здесь.

В ту ночь, сидя на берегу Нила, Жомар машинально прикинул ширину русла. Триста метров на глаз. Течение умеренное.

Нил шёл на север, и то, что они увозили, тоже. У армии были свои пути снабжения, свои речные конвои, свои суда, спускавшиеся к Каиру с донесениями и почтой. На этих же судах плыли официальные ящики Комиссии и неофициальные свёртки офицеров, а мешки, привязанные к вьючным животным, двигались вдоль берега.

Нил был транспортным путём уже четыре тысячи лет. Фараоны сплавляли по его водам гранит из Асуана в Фивы, римляне — обелиски в Александрию, по течению. Теперь французы сплавляли в Каир то, что века оставили в Верхнем Египте, — на судах, когда они были, а в остальное время на спинах мулов.

Армия стояла лагерем примерно в дюжине мест с момента выхода из Каира. Каждая остановка давала свою долю предметов. Всё, что можно было унести, скользило на север, влекомое парижским рынком, частными коллекциями, Центральным музеем искусств. Единого ответственного не было. Был уклон, и предметы следовали за уклоном.

1 февраля — ночёвка в Ком-Омбо.

Жолуа увидел храм ещё до того, как спешился. Тот был почти погребён под песком.

Вечер стоянки и следующий рассвет он провёл со своей землемерной цепью в расчищенных частях храма. Барельефы отличались большой чёткостью — египетское искусство сохраняло свой визуальный язык дольше, чем любая европейская школа, — а песок доходил ему до щиколоток.

— Эти инструменты, — сказал Жолуа, остановившись перед одним из рельефов во внутреннем зале. — Скальпели. Щипцы. Зонды. Их врачи оперировали. Ни один античный автор не говорит об этом с такой точностью.

Денон один за другим срисовывал инструменты в свою записную книжку, отмечая размеры и вероятное назначение.

Военный хирург батальона — некий Брюян, бывший ученик парижской Школы хирургии — пришёл взглянуть на копии Денона. Он долго молча рассматривал рисунки.

— Вот этот изогнутый скальпель. — Он указал на стену. — Мы применяем такой при глубоких брюшных разрезах. Изгиб позволяет подвести его под органы, не проколов их. Я полагал… меня учили, что это изобретение последних десяти лет.

— А эти зонды с оливой, — сказал Денон, указывая карандашом на стену. — Вы их узнаёте?

— Катетеризация мочеиспускательного канала. Та же форма, тот же размер. Бронза вместо стали, но инструмент тот же. Кто-то здесь сам, без чужой помощи, упёрся в ту же анатомическую задачу за две тысячи лет до нас.

Брюян провёл ещё час над рисунками, опознавая инструменты один за другим и объясняя их применение, а Денон записывал объяснения на полях своих набросков всё более убористым почерком.

— Вам стоило бы прийти завтра утром, — сказал Денон. — В дальних залах есть и другие медицинские рельефы.

На следующее утро Брюян и Денон вместе обошли внутренние залы храма — хирург опознавал инструменты и диктовал их назначение, а Денон рисовал и копировал. Эта работа одного вечера и одного утра так и осталась в папках Денона. Таблицы Омбоса для *«Описания»* будут нарисованы позднее, Жолуа и Девилье.

Тем временем Жолуа обмерял храм. Песок, погребший храм, его и сберёг. Каждый обмер это подтверждал. Он заговорил об этом с Дезе во время передышки.

— Если мы действительно хотим сохранить этот храм, — сказал Жолуа, — его следует оставить как есть. Ничего не расчищать. Песок защищает его лучше, чем мы.

— Вы советуете мне ничего не делать? — сказал Дезе с оттенком веселья.

— Я советую вам… — Жолуа подыскивал слова. — Учесть, что наше присутствие здесь не обязательно идёт на пользу тому, что мы приехали изучать.

Дезе не ответил. Ему надо было кормить армию и заканчивать войну, и он уже поглядывал в сторону лошадей.

Жолуа наблюдал за тем, что покидало храм. Солдаты выходили из внутренних залов с отяжелевшими мешками, офицеры покупали вещи у торговца из Эдфу, специально приехавшего сюда. Сам Денон купил две вещи после переговоров, которые вёл Хасан.

Так было в Дендере, в Фивах. Так будет и в Асуане. Солдаты брали, местные торговцы поставляли, посредники облегчали, а учёные покупали, и никто не оспаривал их права на это.

Два входа, два гипостильных зала, два святилища. Храм был посвящён двум богам — Собеку и Хароэрису — со строгой симметрией, и Жолуа с цепью в руке обнаружил, что две оси слегка смещены — ровно настолько, чтобы вместить двух равных богов так, чтобы ни один не шёл впереди другого.

— Можно подумать, что мы под триумфальной аркой в Риме, — сказал Денон Жомару, указывая на ряды пленников, стоящих на коленях перед победоносным фараоном.

— Быть может, способов показать, кто победил, не так уж и много.

Утром в день выступления из Ком-Омбо Денон увидел, как двое унтер-офицеров ломают кувалдой барельеф на внутренней стене святилища. Плита изображала хирургические инструменты, подобные тем, что опознал Брюян. Один человек мог её унести.

— Прекратите, — сказал Денон.

— У нас есть разрешение. Капитан Лашез сказал, что можно.

Денон пошёл за Дезе. Дезе велел вызвать капитана Лашеза. Тот не отрицал. Он видел, как другие офицеры поступали так же в Фивах, в Дендере. Он не знал, что это запрещено.

— Эти памятники принадлежат Комиссии, — сказал Дезе. — Ни к чему не прикасайтесь без моего письменного приказа.

Лашез удалился. Плита была надломлена у основания. Удары кувалды уже сделали своё дело. Вернуть её на место было невозможно. Денон взял её обеими руками и положил плашмя на землю. Лучше от этого не стало. Но это было меньшим злом, чем дать ей упасть.

Когда Лашез ушёл, Денон подошёл к Дезе, стоявшему немного в стороне, прежде чем колонна тронулась в путь.

— Такое случается часто?

— Чаще, чем мне известно. Солдат, который идёт уже два месяца, который видит камни, покрытые знаками… он берёт то, что может поднять. Я не могу уследить за каждым храмом.

— А различие между тем, за чем вы не можете уследить, и тем, что Комиссия собирает официально, как вы его формулируете?

— У вас есть бланки. У ваших комиссаров есть мандаты. У солдат есть мешки. Это не одно и то же.

Он посмотрел на Денона.

— Этого недостаточно. Я это знаю, вы это знаете. Но это единственное различие, которое я могу вам предложить.

Он сделал несколько шагов к своему коню, затем остановился и обернулся к храму.

— Этот храм. Я вошёл туда этой ночью, один. Двадцать минут в темноте перед этими колоннами. Не знаю, что я понял. Я этого не забуду. — Он взял поводья. — Встретимся в Асуане.

Когда колонна тронулась, Денон вернулся взглянуть на надломленную плиту. Она исчезла. Кто-то — не Лашез, наказанный офицер находился под надзором — всё же унёс её. Он подал Дезе письменное заявление. Дезе закрыл дело без последствий. У Денона не было ни свидетеля, ни имени, ни доказательства. Плита лежала в чьём-то багаже где-то между Ком-Омбо и Асуаном.

В тот же день, в часе пути от Ком-Омбо, Жолуа свернул коня к небольшой песчаниковой часовне, видневшейся в пятидесяти метрах от дороги. Её отчасти расчистили от песка при проходе головных батальонов.

Стены стояли. Деревянная кровля обрушилась. Внутри росписи были видны на трёх стенах. Процессии, божества в ладьях, иероглифические надписи, идущие в два ряда. В нишах прежде стояли статуэтки. Они были пусты. На полу лежали осколки фаянса, обломки фигурок, разбитых, когда их срывали с постаментов.

Солдаты одного из головных батальонов прошли здесь на заре, быстро и без колебаний. Жолуа заключил это по свежим отпечаткам сапог на песке и по ещё белому раствору по краям опустошённых ниш.

Он начал описывать в записной книжке настенные росписи — единственное, чего никто не тронул, потому что они были слишком высоко, чтобы до них можно было легко дотянуться. Затем что-то привлекло его внимание. В верхнем ряду, справа от третьей панели, тянулась скорописная надпись в четыре строки. Он скопировал её знак за знаком, с маниакальной точностью, за три четверти часа работы под дневным зноем.

Это будет единственная копия. Часовня обрушится в последующие годы. А записная книжка останется в архивах.

Жолуа сунул книжку в седельную сумку и рысью отправился догонять колонну.

Продвижение к Асуану после Ком-Омбо оставляло мало времени для остановок. Жолуа рисовал верхом всё, что мог, делая наброски силуэтов храмов, замеченных с дороги. В этих беглых набросках была живость, которой не всегда обладали обмеры. Свет определённого мгновения, соотношение между памятником и его ближайшим окружением.

— Вы рисуете как солдат на марше, — сказал молодой офицер, наблюдавший за работой Жолуа. — Не останавливаясь.

— Храмы не станут меня ждать, — ответил Жолуа, не отрывая карандаша.

2 февраля экспедиция достигла Асуана. Первый порог затруднял плавание на юг. Это была естественная граница Египта с древних времён. Дезе разбил лагерь и предоставил учёным вести исследования.

— Дайте мне несколько дней для Филе, — сказал Денон. — Норден зарисовал его больше шестидесяти лет назад — и, между нами, плохо. Мы можем сделать лучше.

В Асуане, в дни перед отправлением на Филе, рынок древностей оказался самым оживлённым из всех, что Жолуа

наблюдал с начала кампании. Весть о том, что армия скоро снова двинется на север, разнеслась по деревням округи. Продавцы приходили издалека. С самого рассвета они располагались на подступах к лагерю со своими мешками и шкатулками. Это был уже не неприметный рынок одного посредника. Торговались громко, и цена менялась в зависимости от покупателя и продавца.

Жолуа наблюдал за сделками час. Он видел, как из рук в руки переходят *ушебти* из раскрашенного дерева, фаянсовые фигурки, изображающие Гора, Исиду, Анубиса, скарабеи всех размеров, каменные амулеты, фрагмент позолоченного картонажа, вероятно, от гроба, две бронзовые статуэтки с древней патиной, несколько ваз из известкового алебастра, одна из которых ещё сохранила крышку.

Цены были выше, чем в Дендере или Фивах. Продавцы знали, что это последняя возможность. После ухода французов придётся ждать следующего прохода.

Предметы переходили из рук в руки под звон пересчитываемых пиастров.

V – Филе

В феврале Денон сел на фелюгу до Филе вместе с Хасаном. Порог проходили на шестах, между выступающими из воды скалами и водоворотами, и нубийские лодочники выкрикивали каждый проход, прежде чем к нему подойти. Затем показался остров. Четыреста метров на сто пятьдесят, почти целиком занятый птолемеевскими храмами.

— Боже мой, — прошептал Денон.

— Здесь весь ритуал, — сказал Денон, заканчивая набросок бокового зала. — Каждый жест, каждое приношение. Если расшифровать тексты рядом… мы узнаем, что означает каждый из них.

— И вот этот, — добавил он, указывая карандашом на небольшой павильон с колоннами на краю острова. — Большие храмы подавляют. Этот убеждает.

Киоск Траяна — названный так потому, что его барельефы изображали этого римского императора в облике фараона, — был самым лёгким сооружением острова. Четырнадцать колонн с цветочными капителями, несущих антаблемент из тонкого песчаника. Внутри римские императоры первых веков исполняли традиционные фараоновы обряды, в тех же позах, что и их предшественники. Блоки скромных размеров, которые могли перенести несколько человек, и барельефы редкой тонкости.

Денон долго стоял перед киоском. Разобрать несколько украшенных блоков было осуществимо. Эскорт был здесь, солдаты могли нести, Хасан мог договориться с лодочниками о перевозке до Асуана. Это было бы законно — бланки Комиссии лежали у него в сумке. Ни один блок не весил больше нескольких сотен килограммов.

Он решил этого не делать.

Не из моральных принципов. Эту добродетель он больше за собой не признавал после всего, что взял со времён Дендеры. Он не хотел, чтобы Филе стал похож на другие места, когда сюда придут другие. Нечто в этой архитектурной лёгкости, в этой изысканности человеческого масштаба требовало оставаться целым. Без своих блоков киоск перестал бы быть тем, чем был, — павильоном, беседой колоннады с небом, — и стал бы руиной среди руин.

Впервые с отъезда из Каира он сделал этот выбор осознанно, назвав причины, взвесив их. В тот вечер он записал это в дневнике — настолько необычным казался ему этот поступок. «Филе. Киоск. Решил не брать. Не из щепетильности. Из нежелания разрушать то, что меня трогает».

На скалах вокруг Филе были надписи древних паломников. Имена, даты, молитвы. Денон скопировал несколько, отмечая положение и состояние сохранности, затем скопировал и остальные, даже самые неразборчивые, даже те, что наполовину стёрли разливы Нила. Солнце так раскалило камень, что ему пришлось положить записную книжку на колено.

— Эти мне милее храмов, — сказал Хасан. — Обычные паломники. Они приходили молиться Исиде и высекли своё имя. Не для потомков. Чтобы… просто здесь побывать.

— Как наши записные книжки, — сказал Денон. — Мы здесь были, мы это видели. Только мы называем это наукой.

— А мы и занимаемся ею, разве нет?

Денон не спеша сдул песок со страницы.

— Да. Но мы оставляем и другие следы. Пустые ниши. Ящики на спинах мулов. Эти… ни в одном отчёте не найдут.

25 февраля Денон выехал верхом из Асуана вместе с колонной. Багаж и ящики сплавляли на барках, а шестьдесят всадников конвоя шли вдоль берега. Дезе, бросившийся по следам Мурад-бея, поручил колонну Бельяру. Почти девятьсот километров отделяли Денона от Каира, который он не увидит до лета. Хасан ехал с ним в качестве переводчика. Войска возвращались в обратном направлении той же дорогой, по которой поднимались.

Девять дней до Гермонтиса. Колонна спускалась вдоль реки километров по двадцать в день, останавливаясь в деревнях за водой и провиантом. Почти тридцать градусов в тени. Шли от рассвета до полудня, затем, после четырёх часов под навесами, где мухи не давали спать, трогались снова.

Близ деревни, название которой никому не было известно, во время марша рухнул солдат. Тепловой удар. Его перенесли в тень пальмы. Полковой хирург напоил его и

смочил ему голову нильской водой. Через час человек пришёл в себя, но идти не мог. Его погрузили на мула. Ночью он умер. На рассвете его похоронили в песке в ста метрах от бивуака. Ни креста, ни плиты. Сержант записал имя и дату в реестр роты.

Между Ком-Омбо и Эдфу двое солдат подрались из-за фаянсовой фигурки, купленной на рынке. Первый утверждал, что заметил её раньше другого, второй за неё заплатил. Они сцепились перед палаткой старшего сержанта. Тот вышел, разнял их, конфисковал фигурку и спрятал в собственный мешок. Оба запротестовали. Сержант сказал, что вещь отныне принадлежит роте и что первый, кто заговорит о ней снова, получит десять нарядов. На этом дело кончилось.

Несколько дней спустя колонна прошла через покинутую деревню. Тридцать домов из сырцового кирпича, все пустые. Следов боя не было. Жители покинули эти места до прихода армии. Лейтенант приказал обыскать дома. Во дворах трёх разных домов нашли зарытые кувшины. Зерно, финики, масло. Содержимое кувшинов пошло в реквизиции. В четвёртом доме в тайнике под полом обнаружили шесть фаянсовых скарабеев, три медных браслета и бронзовое зеркало. Лейтенант отдал скарабеев капитану, браслеты оставил себе, а зеркало уступил солдатам, нашедшим тайник.

Под вечер, когда колонна подходила к ущелью Эль-Каб, во весь опор из авангарда прискакал всадник на взмыленном коне. Он искал генерала Бельяра. Его провели в голову колонны. Он быстро заговорил. Бельяр знаком подозвал офицеров.

— Заграждение на дороге. Вооружённые феллахи. Человек двадцать. Они перекрыли проход у самого ущелья.

— Они чего-нибудь требуют?

— Они не говорят по-французски. Переводчик не смог подойти. Они стреляли в воздух.

Бельяр размышлял несколько секунд.

— Обойдём с востока?

— Невозможно. Местность непроходима. Объезд занял бы три дня.

— Хорошо. Прорываемся. Кавалерия впереди, пехота за ней. Денон, вы остаётесь в середине колонны, при мулах.

Колонна снова тронулась. Час спустя она подошла к ущелью. Феллахи были там, вооружённые палками, копьями, несколькими старыми мушкетами. Они стояли поперёк дороги, неподвижно.

Бельяр приказал кавалерии двигаться шагом. Феллахи не шелохнулись. В пятидесяти метрах Бельяр поднял руку. Кавалерия остановилась. Он подозвал Хасана.

— Скажи им, что мы хотим лишь пройти. Мы ничего не тронем. Ничего не будем реквизировать в их деревне.

Хасан пошёл вперёд пешком, один, с открытыми ладонями. Он заговорил по-арабски. Один из феллахов ответил. Хасан вернулся.

— Они говорят, что армия забрала у них всё зерно две недели назад. У них ничего не осталось. Они хотят, чтобы им вернули зерно или заплатили.

— Две недели назад мы ничего не брали. Это были не мы.

— Они говорят, что это были французские солдаты. Они не различают отрядов.

Бельяр помолчал. Затем достал из седельной сумки кошелёк и бросил его Хасану.

— Тридцать пять пиастров. Скажи им, что это всё, что у меня есть. Если захотят больше, им всё равно придётся нас пропустить.

Хасан снова пошёл с кошельком. Он заговорил с тем же человеком. Тот взял кошелёк, взвесил его на руке, посовещался с двумя другими. Затем они, не говоря ни слова, отступили от дороги. Колонна прошла. Феллахи молча смотрели на проходивших солдат. Когда проехала последняя повозка, феллахи вернулись в свою деревню.

В Гермонтисе колонна сделала остановку на два дня. Бельяр хотел дождаться известий о мамлюках, о мекканцах и об остальной армии, рассеянной по множеству пунктов. Бивуак разбили у подножия храма. Солдаты спали в тени его стен. Некоторые поднимались на крыши, чтобы увидеть Нил, другие не выходили из палаток, слишком усталые, чтобы двигаться, так и не сняв сапог.

В вечер прибытия солдат второй роты украл хлебный паёк у другого солдата во время раздачи. Обокраденный заметил пропажу, догнал вора и выбил ему ударом кулака два зуба. Вор ответил и выхватил нож. Понадобились четверо солдат, чтобы их растащить. Сержант велел на ночь заковать обоих в кандалы. Наутро их судил капитан. Вор получил двадцать ударов палкой. Обокраденного освободили без наказания.

На следующий вечер Бельяр созвал офицеров в свою палатку. Только что вернулись его лазутчики. Осман-бей и мекканцы, по слухам, собирались переправиться через Нил у Кены; у них были пушки, они уничтожили нильскую флотилию, а с Дезе, ушедшим в погоню за Мурад-беем, связаться было невозможно. Бонапарт выступил в Сирию с основными силами армии. Надо было как можно скорее идти на неприятеля. Бельяр положил палец на карту у Кены.

— После Гермонтиса больше никаких остановок. Кус, затем Кена. Самое большее — три дня.

— А Фивы? — спросил один из лейтенантов. — Учёные хотели…

— Проходим мимо.

Денон, присутствовавший при этом, не стал ждать, пока ему дадут слово.

— Тогда остановка здесь, завтра утром. Храм Гермонтиса. Шесть часов.

— Невозможно.

— Шесть часов, генерал. Больше я ни о чём не прошу.

Бельяр долго смотрел на него, затем сложил карту.

— Шесть часов в храме, завтра, с рассветом. Ни часу больше. Если к полудню вы не вернётесь, мы уйдём без вас.

Наутро, с рассветом, Денон отправился в храм вместе с Хасаном и двумя солдатами эскорта. Он направился прямо в дальний зал, наполовину занесённый песком, в конце главного коридора. Песок скрипел под подошвами. На западной стене — ряды вырезанных картушей, десятки царских имён, выстроенных по регистрам.

Два часа он простоял перед стеной, глядя на надписи, которых не умел прочесть. Хасан сидел на полу у входа. Снаружи двое солдат играли в кости.

В зал вошёл человек. Феллах лет сорока, в белом тюрбане и кожаных сандалиях. Он нёс свёрток, обёрнутый грубой тканью. Он подошёл к Денону и развернул перед ним ткань. Обломок известняка со стороной в сорок сантиметров, с тремя целыми картушами.

Человек указал на обломок. Пять поднятых пальцев.

— Пять пиастров.

Денон поднял глаза к верхней части стены, которую до сих пор скрывал от него полумрак. Свежая выемка в семнадцатом ряду, там, где находились эти три картуша. Края известняка были белыми, свежесрезанными. Человек вырубил кусок ночью или рано утром.

Денон достал из кошелька пять пиастров и отдал их. Обломок отправился в его кожаную сумку. Человек взял деньги и ушёл.

Денон больше не выходил из зала. В половине двенадцатого в зал, запыхавшись, вбежал один из солдат.

— Сударь, генерал велит седлать коней.

Он вышел из храма. Колонна уже построилась для марша. Он сел в седло и галопом догнал голову колонны, сумка билась о его бедро. Бельяр проводил его взглядом и ничего не сказал. Колонна двинулась в путь.

В тот же день колонна прошла через Фивы, не останавливаясь. Денон видел, как вдали проплывают пилоны Карнака и Луксора, не имея возможности обмерить ни одного, и оставил там больше сожалений, чем где-либо ещё на этом пути. Ходили слухи, противоречивые. Турецкая армия наступает, англичане блокируют все порты, говорил один. Другой клялся в обратном.

Было ещё сражение при Бенуте, повторное взятие Кены, вторая поездка в Дендеру, поход на Коссейр с Бельяром в конце мая. Денон покинул Верхний Египет 5 июля и увидел Каир лишь 20-го. Солдат разместили в казармах Цитадели. Сам он отправился прямо в северную пристройку дворца Хасан-Кашифа, где хранился багаж Комиссии.

Склад был заперт. Он час ждал, пока интендант придёт с ключом. Запах соломы и горячей пыли. Его двенадцать ящиков стояли там, учтённые среди девяноста шести по описи, выстроенные вдоль южной стены, с надписями, сделанными его рукой. Он открыл первый, бегло проверил содержимое и закрыл. Всё было цело. Он отправился во дворец.

Генерал Дюга, командовавший Каиром, принял его тотчас, стоя у стола, заваленного картами Дельты и побережья у Абукира. Жест в сторону стула.

— Ваша кампания в Верхнем Египте. Завершена?

— Да. От Дендеры до Асуана. Все главные памятники.

— Ваши рисунки пригодны для *«Описания»*?

— Пятьдесят три листа. Храмы, гробницы, колоссы, барельефы.

— Хорошо. Слушайте меня. Главнокомандующий выступил, чтобы остановить турецкую армию, которая только что высадилась в Абукире, прежде чем она дойдёт сюда. Его приказы не меняются. Вы остаётесь в Каире. Вы координируете работу Института вместе с Монжем и Бертолле. Исследования Дельты продолжаются. Раскопки в Саккаре продолжаются. *«Описание»* продолжается. Понятно?

— Понятно.

— Если в его отсутствие высадятся ещё и англичане, вы эвакуируете коллекции на юг, в Верхний Египет, который армия пока удерживает. Всё остальное можете потерять, но не это. Ясно?

— Ясно.

— Тогда идите. У меня работа.

Дюга уже снова склонился над картами, когда Денон закрыл за собой дверь.

Бонапарт, вернувшийся из Сирии в середине июня, за несколько дней до этого покинул Каир и отправился к побережью. Денон остался в Каире с Монжем, Бертолле, Фурье и тремя десятками учёных, оставшихся на месте.

В отсутствие Бонапарта Денон организовывал работу Института. Монж руководил исследованиями в мемфисской области, Бертолле составлял свои наблюдения о натроне, Жоффруа Сент-Илер продолжал свои зоологические изыскания в Дельте. Фурье вёл переписку с провинциальными отделениями.

Через несколько дней после своего возвращения Денон созвал собрание. Пришли все члены, находившиеся в Каире. Тридцать учёных и инженеров, набившихся в большой зал, с окнами, распахнутыми в жару. Он открыл заседание в десять часов.

— Господа, Бонапарт на побережье, где высадились турки. Точных известий у нас нет. Англичане по-прежнему господствуют на Средиземном море. Предлагаю подготовить план перевозки на случай, если представится оказия.

Монж поднял руку и заговорил, не дожидаясь, пока ему дадут слово.

— Подождём Бонапарта, помилуйте! Решать будет он, он всегда решает, и к тому же он любит, когда его ждут…

— А если он не вернётся? — сказал Фурье, не отрывая глаз от своих столбцов цифр.

Никто не ответил. Бертолле снял очки.

— Денон прав. Подготовленный план ещё ни одного корабля не потопил. В тот день, когда у нас будет корабль, мы будем готовы. Если такой день наступит.

Предложение было принято. Заседание закрыли в полдень.

Из Сирии Бонапарт привёл назад менее десяти тысяч из тринадцати тысяч человек, ушедших с ним, — остальные погибли, заболели или были заражены чумой. Наступление провалилось, и в Институте это знали все, хотя никто не говорил вслух.

Через несколько дней Дюга снова вызвал Денона во дворец. Осунувшееся лицо, развязанный галстук, карты, сваленные даже на стулья. Без приветствия.

— Ваш план перевозки?

— Готов, на бумаге. Не хватает только кораблей.

— Там он и останется. Англичане по-прежнему блокируют побережье. Никаких перевозок, пока положение не изменится.

— Понял.

Дюга уже вернулся к своим картам.

Эти недели прошли спокойно. Исследования и раскопки продолжались, *«Описание»* продвигалось медленно. По вечерам на террасах ждали гонцов с побережья.

VI – Розеттский камень

15 июля 1799 года лейтенант инженерных войск по фамилии Бушар руководил сносом старой стены форта Жюльен близ Розетты. Кирка наткнулась на что-то.

Бушару было двадцать восемь лет, он был выпускником Политехнической школы. Он тотчас понял, что это не обычный бутовый камень. Стела из чёрного камня высотой сто двенадцать сантиметров с тремя параллельными надписями. Он велел укрыть камень в форте, известил генерала Мену, командовавшего гарнизоном, а Ланкре, такой же политехник, как и он, находившийся тогда в Розетте, написал в Институт Египта в Каире.

Форт стоял в стороне от текущих работ. Под холстом, у стены, камень был там в безопасности.

Жан-Жозеф Марсель и Реми Рэж были посланы в Розетту, как только письмо Ланкре было прочитано в Институте. Марсель был востоковедом, специалистом по семитским языкам. Рэж, эллинист, свободно читал по-древнегречески. Начиная с 1 августа они осматривали камень со всех сторон.

Греческий текст, расположенный в нижней части стелы, сохранился относительно хорошо. Рэж читал его вслух, пока Марсель делал записи.

— Этот декрет чтит юного Птолемея V. Налоговые льготы для храмов, дары жречеству. Из тех вещей, что высекают на трёх языках, чтобы все наверняка о них узнали.

Марсель смочил лист очень тонкой бумаги и осторожно прижал его к исписанной поверхности ватным тампоном, пропитанным разбавленными чернилами. Получался точный оттиск каждого знака, белый на чёрном фоне. Для всей поверхности эта операция занимала несколько часов.

Письмо Ланкре, прочитанное в Институте 29 июля, высказывало предположение, что три надписи — это три версии одного и того же текста, одна из которых читаема. Донесение Марселя и Рэжа это подтвердило. Такого волнения Денон не видел со времени прибытия в Александрию год назад. Если камень позволит расшифровать иероглифы, три тысячелетия истории вновь станут читаемыми, а вместе с ними и всё то, что путешественники копировали, не понимая, на протяжении двух столетий.

— Господа, — сказал Денон в Институте в тот вечер, когда было прочитано письмо Ланкре, — возможно, мы стоим… словом, я полагаю, что мы стоим на заре научной революции.

Монж тотчас предложил отправить в Розетту экспедицию.

— Гипсовые слепки! Оттиски на бумаге, сколько удастся… И поскорее, друзья мои, пока кто-нибудь не повредил камень или не увёз его.

Жомар, приехавший с ними из Каира, присутствовал при первых оттисках.

Розеттский камень имел сто двенадцать сантиметров в высоту, семьдесят шесть в ширину и двадцать восемь в толщину. Вес, оценённый по объёму и известной плотности гранодиорита, — около семисот шестидесяти килограммов. Жомар сам снял эти размеры, хотя они и не должны были

пригодиться сразу, натягивая кожаную ленту от ребра к ребру, по два раза каждый.

Стела была неполной. Верхней части не хватало, она была отбита в неопределённую эпоху. Сохранились лишь последние четырнадцать иероглифических строк, да и те повреждённые. Около половины иероглифического текста было утрачено, тогда как демотический сохранился почти полностью. Это осложнит работу будущего дешифровщика. Но греческий текст, несмотря на скол внизу справа, оставался в основном читаемым, и для работы этого хватало.

— Греческий, внизу, мы можем прочесть немедленно, — сказал Марсель. — Это декрет совета жрецов Мемфиса, изданный в девятый год правления Птолемея V Эпифана. Сто девяносто шестой год до нашей эры.

— А иероглифы? — спросил Жомар.

— Вероятно, тот же текст. Во всяком случае… так мы надеемся.

— Если так, — сказал Жомар, — мы можем начать устанавливать соответствия. У каждого греческого слова есть иероглифический эквивалент. Сравнивая длину групп знаков, выявляя повторы…

— Именно. Но на это уйдут годы.

Жомар взял карандаш и начал записывать в блокнот частоту некоторых групп знаков в иероглифической полосе. Каждый знак отмечен, сосчитан, внесён в таблицу. Распределение не было случайным.

— Смотрите. Эта группа, заключённая в картуш, встречается шесть раз в сохранившейся части иероглифов. Птолемей встречается в греческом одиннадцать раз… но часть египетского текста отсутствует.

Марсель прервал работу и посмотрел.

— Возможно. Более того, вероятно. Но ничто не говорит о том, что соответствие прямое, знак в знак. Иероглифическое письмо, скорее всего, не алфавитное.

— Да. Но это отправная точка.

Жомар дважды подчеркнул картуш в блокноте.

Жомар помог Марселю натянуть последний лист оттиска на демотический раздел. Ночь была поздняя, лампа коптила. Снаружи спал порт Розетты.

Жомар ещё трижды приходил взглянуть на камень в следующие дни, в Розетте.

В первый раз он принёс свою кожаную ленту и измерил всё, что можно было измерить. Во второй принёс блокнот частот и сосчитал группы знаков в иероглифической полосе, составив таблицу распределения. В третий раз он не принёс ничего. Он сел напротив камня на табурет. Гранодиорит был холодным и матовым. Ни блеска, ни цвета. Тёмная плита, уродливая в обычном смысле слова. Он положил ладони плашмя на колени и заставил себя не вычислять. Только смотреть. В некоторых буквах виднелись следы резца. Кто-то вырезал это буква за буквой, часами. Этот труд был здесь, и он длился. Так смотрят на карту, чей язык по-прежнему непонятен, но на которой видно, что дороги проложены.

Сидя там, он видел, что отделяет этот камень от всего, что Комиссия собрала или пыталась собрать за год с лишним. *Ушебти*, скарабеи, папирусы, обломки барельефов — их брали, потому что они были красивыми, редкими, древними.

У камня не было красоты. Ценен он был лишь тем, что говорил, — соответствием между тремя системами письма, одна из которых читаема, а две другие пока нет. Для того, кто работал над дешифровкой, ещё не распрямившийся лист оттиска стоил самого камня.

Ушебти, вынутый из гробницы, терял свой контекст. Этот камень, вынутый из крепостной стены, не терял ничего. Контекста у него не было уже две тысячи лет.

— Вы всё ещё здесь, — сказал Марсель, входя. — Это уже третий раз за неделю.

— Я размышляю. Предметы, которые увозят, что-то теряют. А этот… я не вижу, что он мог бы потерять.

Марсель сел рядом с ним.

— Разве что англичане его захватят.

— Да. Разве что это. Но даже тогда оттиски останутся. То, что он говорит, останется. Возможно, это единственное из всей экспедиции, что нельзя… по-настоящему украсть.

Марсель принял решение, никого о нём не известив.

Помимо официальных оттисков, сделанных в Розетте, он изготовил ещё тридцать, не для Института и не для *«Описания»*, а для раздачи. Пять он подготовил для европейских корреспондентов — один в Лондон, два в Париж, один в Берлин и один в Копенгаген, — чтобы их провёз сквозь блокаду офицер, возвращающийся во Францию, быть может, адъютант Бонапарта. Пять учёных, работавших над древними языками и способных, если повезёт, что-то в них распознать.

Двадцать пять он оставил в запасе. Если англичане захватят камень, если дешифровку придётся вести в Лондоне, эти оттиски позволят французам работать параллельно, на равных.

— Вы раздаёте ключ, прежде чем отпереть замок, — сказал Денон, узнав об этом.

— Я раздаю копии ключа. Замок остаётся здесь. А если англичане заберут замок, у нас всё равно останутся наши копии.

Известие об открытии, а затем возвращение Марселя и Рэжа вызвали чрезвычайное заседание Института 8 августа. Все члены, находившиеся в Каире, явились. Председательствовал Монж. Денон представил оттиски Марселя и технический доклад Рэжа о греческом тексте.

Зал был полон. Три десятка учёных, инженеров, натуралистов, причём некоторые не появлялись на заседаниях месяцами, и камень заставил их выйти из лабораторий, со строек, из поездок по Дельте.

После доклада слово взял Бертолле.

— Если этот камень позволит дешифровку… повторяю, если… нам откроется доступ к трём тысячелетиям архивов. Царские списки, битвы, религиозные тексты. Всё, что высечено на памятниках, которые мы зарисовываем больше года, станет читаемым.

Жоффруа Сент-Илер, никогда не вмешивавшийся в филологические споры, поднял руку.

— Сколько времени потребуется для дешифровки? Приблизительно.

Марсель ответил из глубины зала.

— Годы. Десять, может быть, двадцать. Иероглифическое письмо не алфавитное, от знака к букве тут не перейдёшь.

— Но это осуществимо, — сказал Жомар. — Соответствие у нас есть. Остальное — работа.

Инженер путей сообщения Шаброль попросил слова.

— Вопрос практический. Если британцы высадятся, этот камень станет их первой целью. Они знают ему цену. Есть ли у нас план?

Зал затих. Кто-то кашлянул в глубине. Никто ещё не ставил вопрос так прямо.

Монж посмотрел на Денона.

— Оттиски путешествуют, — сказал Денон. — Марсель подготовил пять для Европы. У нас здесь двадцать пять в запасе. Если британцы заберут камень, дешифровка будет вестись в Париже по копиям.

— А если мы потеряем и оттиски?

— Тогда мы проиграли.

Ответ никого не удовлетворил, но другого не было. Военная обстановка от них не зависела, и Монж уже придвигал к себе чернильницу.

Монж составил официальную резолюцию, согласно которой Розеттский камень будет перевезён в Каир при первой возможности, будет храниться в Институте под постоянной охраной, воспроизводиться оттисками так часто, как потребуется, и изучаться в первую очередь Марселем и Рэжем. Она была принята единогласно.

Денон остался после заседания. Он помогал расставлять стулья, когда вошёл Фурье с пачкой бумаг.

— Вы читали последнюю депешу?

— Нет.

— Клебер в Александрии по-прежнему требует подкреплений. Ему не отвечают. После Сирии все делают вид, будто… будто армия оправилась.

Денон поставил стул, который держал.

— А мы тем временем находим ключ к иероглифам.

— Да. Две кривые. Наука идёт вверх, пока экспедиция рушится.

Фурье сказал это без горечи, как зачитывают сводку.

Денон вернулся к оттискам и разложил их на большом столе Института. Иероглифы вверху, демотика посередине, греческий внизу. Он провёл пальцем по строке иероглифических знаков. Птицы, змеи, глаза, руки. Формы,

которые он сотни раз копировал в Дендере, в Фивах, на Филе, так и не узнав, что они говорят.

Он подумал о Бонапарте. Вернувшийся из Сирии ещё в июне, быть может, уже обративший взор к Франции, он не подозревал, что его учёные только что нашли то, чего никто не мог найти две тысячи лет.

9 августа Жомар провёл целый день с оттисками. Он принёс свои тетради с зарисовками из Гизы и Саккары, покрытые картушами, нарисованными за предыдущие месяцы. В них он возвращался к гипотезе, отмеченной ещё в Розетте, — о том, что картуши заключают в себе имена, — общепринятой среди путешественников со времён восемнадцатого века.

На этот раз он мог проверить её на деле.

Подсчёт, сделанный в Розетте, оставался в силе — одиннадцать Птолемеев в греческом, шесть картушей в повреждённой полосе. Он набело записал это соответствие в тетрадь : «Гипотеза. Картуш равен имени собственному. Если подтвердится, все картуши на памятниках Египта содержат имена фараонов или божеств».

Год назад эта мысль кочевала по рассказам путешественников; теперь она держалась на подсчёте, на странице тетради, запятнанной копотью.

Исследования продолжались. Камень не останавливал всего остального.

Ни войны.

10 августа в Институт заглянул офицер, чтобы объявить официальные итоги битвы при Абукире 25 июля. Бонапарт разгромил османский десант на пляже. Десять тысяч янычар убиты или утонули, остальные взяты в плен. Бесспорная победа после неудачи в Сирии, и Восточная армия удерживала Египет. Но Абукир, сколь бы блестящим он ни был, ничего не менял в её изоляции.

Денон узнал новость от Клебера, приехавшего из Александрии на один день.

— Бонапарт возвращается в Каир?

— Да. Через несколько дней, может быть, раньше. Ясно он ничего не написал. Но армия на пределе. Это точно.

— А потом?

— Потом посмотрим. Либо он укрепит Египет. Либо вернётся во Францию.

Клебер не назвал третью возможность. Бонапарт мог и дальше терять людей в бесполезных кампаниях, пока от Восточной армии ничего не останется.

Клебер взглянул на оттиски, разложенные на столе Института.

— Это и есть ваш камень?

— Это он.

— Что в нём сказано?

— Декрет о храмовых налогах. Ничего военного.

Клебер улыбнулся.

— Вы нашли ключ к древнему Египту с помощью текста о налогах. Мне это нравится.

Он уехал в Александрию в тот же вечер. Денону не суждено было увидеть его снова.

12 августа из Розетты пришло сообщение о том, что камень готов к перевозке. Бушар руководил изготовлением усиленного ящика. Военный конвой был организован. Отправление намечено на 14-е.

Денон написал Бушару записку : «Перевозка по реке, если возможно. Избегать тряски на дороге. Если необходима сухопутная перевозка, максимальная амортизация. Камень не должен треснуть».

Бушар ответил на следующий день: «Речной путь невозможен. Все лодки реквизированы для раненых при Абукире. Сухопутная перевозка с подстилкой из соломы под ящиком. Три дня пути. Прибытие ожидается 17 августа».

Вечером 17 августа конвой въехал во двор Института. Пятнадцать солдат охраны, три телеги. Камень лежал во второй телеге, завёрнутый в холст и притянутый ремнями к ложу из соломы.

Денон, Марсель, Жомар и шестеро солдат сгрузили его. Семьсот шестьдесят килограммов. Понадобились рычаги, верёвки, наспех устроенный пандус и несколько крепких слов. Операция заняла час. В конце концов камень встал на деревянный постамент в главном зале Института, у восточной стены.

Марсель снял холст. Показался чёрный гранодиорит с тремя вырезанными полосами письма.

— Ни одной трещины, — сказал Жомар, осматривая поверхность.

Его установили под масляной лампой, горевшей постоянно. Двое часовых день и ночь. Письменного приказа не было, но все понимали, что этот камень не должен исчезнуть.

На следующее утро Денон пришёл взглянуть на камень. Он был один. Институт ещё спал. Лампа отбрасывала жёлтый свет на гранодиорит. Иероглифы бросали маленькие тени в своих углублениях.

Он положил руку на холодную поверхность. Этот жест был бесполезен. Он всё равно его сделал.

Однажды кто-нибудь прочтёт этот текст так, как читают греческий, и имена фараонов выйдут из своих картушей.

Он убрал руку.

VII – Переговоры, победа и смерть Клебера

Вечером 18 августа Денон случайно увидел, как Бонапарт один пересекает двор Института. Без адъютанта, без охраны. В руке он что-то держал. Книгу, не карты. Он шёл быстро, как человек, который не хочет, чтобы его видели.

Денон наблюдал за ним из дверного проёма. В этой торопливой фигуре была спешка, какой он прежде в нём не знал, похожая на бегство — не столько от опасности, сколько от положения, ставшего для него слишком тесным.

Он свернул за угол двора и исчез.

Денон подумал о книге, которую держал Бонапарт. Что-нибудь о Риме, наверное, или об Александре.

Час спустя за Деноном пришёл адъютант. Бонапарт днём рассмотрел его рисунки и хотел взять его с собой. Денон свернул рисунки в четыре медные трубки, передал Жомару ключи от своих ящиков и сел в берлину вместе с Монжем и Бертолле. В ту ночь кое-кто видел их отъезд. Другие слышали, как лошади удалялись на север.

На следующее утро новость подтвердилась. Бонапарт уехал во Францию. Он велел доставить Клеберу письмо, передававшее ему командование армией Египта. Монж, Бертолле и Денон уехали вместе с ним. Они сядут на борт одного из двух фрегатов в Александрии в ночь с 22 на 23 августа, а Денон высадится во Фрежюсе 9 октября со своими рисунками. Почти никого не предупредили.

Первая мысль Жомара в то утро была не о Бонапарте и не о Франции. Она была о ящиках. Девяносто шесть ящиков, хранившихся в пристройках дворца Хасан-Кашифа. Семьдесят три официальных и двадцать три без этикеток в северо-западном углу, всё ещё там, всё ещё безымянные. Без Бонапарта, который отдал бы приказ о военной перевозке, эти ящики оказывались во власти любых будущих переговоров.

Он обошёл пристройки до восхода солнца. Семьдесят три официальных ящика были на месте, сложенные, заколоченные, снабжённые этикетками по его системе. Буква, номер, краткое описание содержимого.

Эти предметы происходили отовсюду — из Саккары, Карнака, Дендеры, Долины царей, с рынка Мемфиса, из Гизы. Одни были изъяты по установленным процедурам. Другие куплены на рынках, следовавших за армией. Третьи попали сюда иными, хуже документированными путями. Вместе они представляли тринадцать месяцев организованного грабежа, случайного грабежа, терпимого грабежа и научного собирательства — категорий, которые никто никогда формально не разграничивал.

С отъездом Бонапарта эти различия потеряли силу даже политически. Вместе с ним испарился государственный проект, делавший изъятие законным. Остались предметы, солдаты, учёные. И англичане, которые рано или поздно подойдут.

Он убрал опись и сел на ящик. Вокруг него в полумраке стояли девяносто шесть ящиков. Он оставался там, пока дневной свет не пробился под дверь.

Клебер теперь командовал армией Египта. Бонапарт предусмотрительно не стал сообщать ему о своём отъезде лично.

Марсель воспринял это спокойно. У него были его эстампажи, а присутствие или отсутствие Бонапарта ничего не меняло. Костаз спросил Фурье, продолжаются ли работы Комиссии. Фурье ответил, что да. Костаз ничего не сказал. Жоффруа Сент-Илер узнал новость, склонившись над своим препаратом, и не выпустил скальпеля из рук. «Уехал? Пусть так», — сказал он, не поднимая головы. Для него предмет на столе был важнее всего остального.

— Он нас использовал, — говорил в то утро Костаз всякому, кто хотел его слушать. — Наши труды… прикрытие, вот чем они были. Он получил то, чего хотел, и уезжает. А мы остаёмся.

Фурье нашёл Костаза одного в его кабинете в Институте в тот же день после полудня, когда было объявлено об отъезде.

— Вы работаете?

— Нет.

— Он мог бы нас предупредить, — сказал Костаз. — У меня семья в Париже. Я обещал им несколько месяцев. Теперь прошло уже пятнадцать месяцев. А он вернулся, тогда как…

Он оставил фразу неоконченной. Ревность была здесь ни при чём. Он верил в науку на службе Республики, в Республику на службе науки — и обнаруживал, что им воспользовались, как пользуются статистом.

Комиссия по наукам и искусствам собралась в тот же вечер. Никто её не созывал. Учёные сошлись в Институте, не сговариваясь. Там были Фурье, Марсель, Жомар, Костаз, Жоффруа Сент-Илер и ещё дюжина человек. Конте пришёл последним.

Всё сводилось к одному вопросу. Что будет теперь, когда Бонапарт уехал и командует Клебер?

У Клебера были иные отношения с Комиссией. Жомар ещё до Сирийского похода прощупал его насчёт статуса коллекций. Клебер ответил, что изучит вопрос.

— Когда Клебер говорит, что изучит, это значит, что он об этом не думает, — сказал Жомар.

— У Клебера три заботы, — сказал Фурье, загибая пальцы. — Армия, которую надо содержать, османы, за которыми надо следить, англичане в Средиземном море. Коллекции идут… потом.

— Тогда они должны быть нашей заботой, — ответил Жомар. — Иначе их судьбу решит кто-нибудь другой, и не по описи.

На столе лежала общая опись девяноста шести ящиков. Её пустил по рукам Жомар. Каждый читал её молча. Названия храмов, категории предметов, оценки веса. Впервые Комиссия видела всё собранное ею в одном документе.

Никто не высказался. Костаз перелистывал страницы медленнее других, ведя пальцем по столбцу веса, как читают ведомость награбленного.

— Нам нужно установить очерёдность перевозки, — сказал Жомар. — В случае эвакуации всё отправить не удастся. Необходима иерархия.

— Папирусы и скопированные надписи, — сказал Марсель. — Незаменимы.

Фурье помедлил, прежде чем задать вопрос.

— А двадцать три ящика без этикеток в северо-западном углу склада?

Жомар и Марсель обменялись взглядом.

— Я их отметил, — сказал Жомар. — Я не знаю, кому они принадлежат.

— И я не знаю, — сказал Марсель.

Заседание закончилось без официального решения по этому пункту. Учёные вернулись к своим работам. Опись осталась на столе, а двадцать три безымянных ящика — в северо-западном углу склада, в темноте.

Клебер же считал, что его предшественник бежал, чтобы не брать на себя ответственность за капитуляцию; в своём донесении Директории от 26 сентября 1799 года он упрекнул его в том, что тот не оставил в казне ни гроша.

Из Института военное положение казалось безвыходным. Французская армия контролировала Египет, но не имела никакой связи с Францией. Английский флот блокировал Средиземное море. Клебер знал, что не сможет ни держаться бесконечно, ни получить подкрепления. Он принял решение, на которое Бонапарт не осмелился, и начал переговоры об эвакуации. В декабре 1799 года Клебер направил посланника к османскому великому визирю, стоявшему лагерем в Сирии. Переговоры начались на борту британского корабля *«Тигр»* близ Дамьетты. Британским переговорщиком был коммодор Сидни Смит, выступавший как полномочный представитель Короны, — эту роль адмирал Кит вскоре у него оспорит. Французскими уполномоченными были генерал Дезе и администратор Пуссьельг. Французы требовали почётной эвакуации армии с оружием и обозом. Смит согласился заняться неотложными вопросами — эвакуацией раненых и учёных из Египта, а также перемирием на время прибытия османских уполномоченных. Обсуждения затянулись. Клебер торопил своих переговорщиков, и 24 января 1800 года конвенция в Эль-Арише была подписана. Она предусматривала полную эвакуацию французской армии из Египта в течение трёх месяцев, с оружием, обозом и научными коллекциями. Французы должны были постепенно оставлять свои позиции, начиная с востока Дельты и заканчивая Александрией. Каир надлежало эвакуировать не позднее сорок пятого дня. Известие достигло Каира 28 января, в день, когда конвенция была там официально обнародована. Воздействие на учёных было мгновенным.

— Господа, — сказал Клебер на чрезвычайном заседании Комиссии, — я договорился с османами о нашем возвращении. Через три месяца мы будем во Франции. Упаковывайте ваши коллекции. Сортируйте.

Жолуа проводил целые дни, сортируя и упаковывая; пальцы его посерели от пыли и соломы. Бронзовые статуи, статуэтки из раскрашенного дерева и фаянса, амулеты, папирусы, монеты, украшения. Каждый предмет был внесён в каталог, описан, завёрнут в лён. Он работал быстро, словно это время у него могли отнять. Впервые за двадцать месяцев возвращение становилось реальным. Ящики вынесли из кладовых. Этикетки составили. Розеттский камень упаковали в несколько слоёв холста. Фурье, внимательно следивший за переговорами, вернулся в Каир с текстом Конвенции и прочёл его вслух на заседании Института. Когда он дошёл до пункта, гарантирующего коллекции, по собранию пробежал шёпот облегчения.

— Это значит, что Розеттский камень, папирусы, эстампажи, всё, что мы собрали, сможет вернуться во Францию вместе с нами? — спросил Марсель.

— Конвенция это гарантирует, — сказал Фурье. — Пункт… недвусмыслен. Разумеется, при условии, что англичане примут её условия.

Фурье составил полную опись — двести семнадцать внесённых в каталог предметов, из которых сто тридцать восемь имели непосредственную музейную ценность, а семьдесят девять — научно-документальную. Эти двести семнадцать предметов составляли ядро девяноста шести ящиков. Он расположил их по порядку приоритета, зная, что если перевозка будет ограничена, придётся выбирать. Приоритет первый — зарисовки Жомара, которые уже не повторить. Двести килограммов максимум, в водонепроницаемых ящиках. Тетради Жолуа, в медных трубках, добавляли ещё пятьдесят килограммов. Приоритет второй — мелкие предметы, *ушебти*, скарабеи, амулеты, папирусы. Лёгкие, с высокой ценностью на килограмм веса. Приоритет третий — эстампажи Марселя. Приоритет четвёртый — естественнонаучные коллекции Жоффруа,

тяжёлые, хрупкие, громоздкие. Приоритет пятый — крупные предметы Института, гранитная статуя, саркофаги среднего размера.

Надежда продлилась почти семь недель. В марте 1800 года пришла новость. Британцы отказались ратифицировать Конвенцию. Адмирал Джордж Кит Элфинстон, командующий британским флотом в Средиземном море, заявил, что Сидни Смит превысил свои полномочия и что конвенция недействительна. Кит требовал безоговорочной капитуляции. Французы должны были сложить оружие и сдаться в плен. Клебер созвал своих генералов. Он прочёл послание Кита вслух, затем положил его на стол.

— Господа, на подобную дерзость отвечают только победами. Готовьтесь к бою.

Багаж распаковали. Ящики вернулись в кладовые Института, и Жомар пересчитал их. Тридцати трёх недоставало — потерянных, уничтоженных или затерявшихся при передвижениях армии; оставалось шестьдесят три. Этикетки остались наклеенными. Эти предметы больше не уезжали — до следующего случая уехать или до капитуляции, которая отдала бы их англичанам. Британцы и османы считали Восточную армию слишком слабой, чтобы сопротивляться. Великий визирь Юсуф-паша выступил на Каир с армией от сорока до восьмидесяти тысяч человек, по разным оценкам. В самом Каире население восстало по его призыву.

Насиф-паша, во главе османского авангарда, занял деревню Эль-Матарийя с пятью-шестью тысячами янычар и несколькими тысячами всадников и укрепил свою позицию шестнадцатью орудиями. У Клебера было всего десять тысяч человек. В ночь с 19 на 20 марта 1800 года он выдвинул их вперёд от Каира и расположил на правом берегу реки, причём каждая из четырёх бригад его небольшой армии образовала собственное каре. На рассвете

20 марта французская армия атаковала близ развалин Гелиополя, примерно в пятнадцати километрах от Каира. Бой длился весь день. Французские каре выдержали все атаки. Французская артиллерия разбила османские линии. К концу дня османская армия рассыпалась. Великий визирь бежал в Сирию с остатками своих войск. Французы насчитали около шестисот убитых и раненых. Османы оставили на поле девять тысяч. Клебер вернулся в Каир и подавил мятеж. Бомбардировка длилась несколько дней. Сотни мирных жителей погибли в боях. 21 апреля город капитулировал. Победа при Гелиополе укрепила положение французов в Египте. Мурад-бей, который отделился от османов, уйдя в пустыню и не приняв участия в бою, подписал в апреле соглашение с Клебером, делавшее его чем-то вроде вице-короля Верхнего Египта. Египет, казалось, как никогда прочно находился в руках французов. Клебер вновь принял обязанности главнокомандующего. В Институте возобновили работы с того места, где их оставили, а ящики остались там, где стояли.

— Будем работать, пока можем, — повторял Фурье на еженедельных заседаниях, последовавших за этим, не поднимая глаз от своих листков. — Написанное не отменить.

Клебер вёл переговоры, пытался вернуть армию на родину, потерпел неудачу, снова взялся за оружие. Учёные видели его редко. Он иногда приходил в Институт, выслушивал доклады, не перебивая, и уходил в свою ставку.

Военное положение стабилизировалось, не улучшившись. Армия удерживала Египет, но не могла ни наступать, ни уйти. Британцы блокировали Средиземное море, Франция была далеко, и экспедиция превратилась в гарнизон.

14 июня 1800 года утром Клебер провёл смотр греческого легиона, а затем приехал в Каир осмотреть работы во дворце Эльфи-бея, своей главной квартире на площади Эзбекия. Прежде чем отправиться туда, он присутствовал на завтраке

у генерала Дама, своего начальника штаба и близкого друга. На этой трапезе собрались члены Института и офицеры. Клебер был веселее обычного. Успех, увенчавший его усилия, развитие французских учреждений, знаки привязанности, которые он получал от населения, рассеяли его обычную холодность, и он был любезен, словоохотлив. Никто из окружавших его не мог знать, что это его последняя трапеза.

В два часа пополудни генерал, в сопровождении одного лишь Протена, архитектора армии, направился в свой дворец. Чтобы дойти до него, он шёл по длинной галерее, затенённой густой виноградной лозой, соединявшей жилище начальника штаба с жилищем главнокомандующего. Он беседовал с Протеном об украшениях, которые задумал, и отдавал распоряжения о ремонте главной квартиры и сада, чтобы уничтожить следы от снарядов, оставленные последним восстанием.

Молодой сириец по имени Сулейман аль-Халаби с самого утра прятался в дворцовом саду. Ему было двадцать четыре года, он изучал богословие в мечети аль-Азхар и уже месяц наблюдал за дворцом Клебера. Кинжал он раздобыл в Гизе. Переодетый нищим, он ждал возле заброшенной цистерны.

Когда Клебер вошёл в галерею вместе с Протеном, Сулейман вышел из укрытия, подошёл сзади и вонзил кинжал в сердце генерала.

Клебер рухнул с криком «Ко мне, меня убивают!»

Протен бросился на убийцу с маленькой тростью, которую держал в руке. Он пытался остановить удары и сам получил шесть ножевых ранений. Сулейман оставил его в обмороке, вернулся к Клеберу, уже лежавшему на земле, и ударил его ещё трижды. Первый удар был смертельным. Генерал умер через несколько минут, не успев произнести ни слова.

Поднялась тревога. Караульные, офицеры, все те люди, с которыми Клебер несколькими часами ранее поднимал тост за Республику, окружили его, тщетно пытаясь добиться от него хоть нескольких слов. Тело перенесли в покои начальника штаба.

Солдаты обыскали дворец и сады вдоль и поперёк. Двое гидов привели молодого человека, которого застали спрятавшимся под густой опунцией. Протен, придя в себя, несмотря на раны, опознал убийцу. Сулеймана бросили в тюрьму вместе с тремя улемами великой мечети, которые знали о его замысле и не донесли о покушении.

Армию охватило потрясение, быстро обратившееся в гнев. Весь город пришёл в движение. Лавки закрылись. Французские солдаты, потерявшие голову, ходили по улицам, бросая вокруг угрожающие взгляды. Ночь была тяжёлой.

На следующее утро новость дошла до Института. Фурье созвал немедленное собрание. Шестнадцать учёных собрались в зале. Говорили мало и вполголоса. Кто-то оставил дверь во двор открытой, и никто не встал, чтобы её закрыть.

Фурье заговорил без предисловий.

— Клебер мёртв. Командование принимает генерал Меню, старейший из дивизионных генералов. Мы его мало знаем… как начальника, я хочу сказать. Клебер по-своему уважал приказы Бонапарта о наших работах. У Меню нет этой связи с нами.

Жомар не стал ждать.

— Наши коллекции сложены на хранение, наши зарисовки заархивированы. Если Меню решит, что они остаются в Египте или что у них больше нет военного значения, мы потеряем два года работы.

Тогда Марсель медленно произнёс.

— Документирование почти завершено. Остаётся вывезти всё во Францию. Если предметы разойдутся здесь, они окажутся на рынках, и всё, что мы сделали…

Фурье встал.

— Мы продолжаем. Мы заканчиваем то, что можно закончить.

Учёные вернулись к своим занятиям, ничего не зная о том, что решит Меню.

Сулеймана аль-Халаби допросили под пыткой. Он признался, что его подстрекал ага янычар османской армии. Свой замысел он доверил четырём улемам мечети аль-Азхар, которые пытались его отговорить, но не донесли. Военный суд приговорил всех. Сулейману сожгли правую руку, затем живым посадили на кол. Он мучился четыре часа, прежде чем умер. Трёх улемов обезглавили. Четвёртого осудили заочно.

Похороны состоялись быстро. Фурье от имени Института произнёс надгробную речь над героем, которого оплакивали.

Солдаты щедро бросали венки из кипариса и лавра. После публичных похорон небольшая группа, состоявшая в основном из офицеров, незаметно собралась у могилы покойного. Они были членами масонской ложи «*Исида*», досточтимым мастером которой был Клебер. К ним присоединился один учёный из Комиссии. Хотя он не был офицером, он тоже был франкмасоном и состоял в парижской мастерской «*Совершенное единение*». Он был единственным штатским среди присутствующих. Монж мог бы быть с ними, но бежал вместе с Бонапартом. Они достали фартуки и перевернули их чёрной стороной, предназначенной для траурных церемоний. Трижды хлопнули в ладоши, произнося ритуальную формулу

«Скорбим! Скорбим! Скорбим!», за которой тотчас последовала традиционная батарея радости «Но будем надеяться! Надеяться! Надеяться!». На могилу возложили веточку акации. Их брат отошёл в *Вечный Восток*.

Генерал Жак-Франсуа Меню, дивизионный генерал, старейший после Клебера, официально принял командование армией Египта.

ГЛАВА III : ВРЕМЯ УЧЁНЫХ

I – Последние кампании

Смена командования не прервала работы Института.

Археологические исследования продолжались по всей Дельте и в Нижнем Египте. Коллекции пополнялись и лучше упорядочивались. Научные публикации в *«Египетской декаде»* выходили по-прежнему регулярно.

Генерал Меню обладал характером, весьма отличным от характера своего предшественника. Он утверждал, что управляет Египтом во имя франко-арабского союза, не имевшего никакой политической реальности. Офицеры, уважавшие его меньше, чем Клебера, следовали за ним из дисциплины, а не по убеждению. Меню принял ислам, взял имя Абдалла и женился на египтянке по имени Зобейда. Учёные знали его со времён кампании 1798 года, но ещё ни разу не видели его в роли главнокомандующего.

Для учёных Меню поначалу оказался более навязчивым, чем Клебер, и менее полезным. Он стремился направить их труды на темы, служившие его политике, и его приоритеты почти ничего общего не имели с их собственными.

Фурье выработал простую стратегию, чтобы сосуществовать с Меню, не поступаясь собой, — связывать его имя с несколькими второстепенными открытиями и публикациями, регулярно подавать ему отчёты, достаточно технические, чтобы быть непонятными, и спокойно продолжать основные работы, не извещая о них главнокомандующего.

— Это дипломатия, — сказал Жомар, когда Фурье объяснил ему свою стратегию.

— Это выживание, — ответил Фурье.

На местах исследования возобновились.

Институт Египта продолжал проводить регулярные заседания, хотя атмосфера на них отличалась от атмосферы первых лет. Пребывание затягивалось — в стране, чьего разговорного языка учёные не знали, а тонкостей культуры не понимали. Доклады были менее воодушевлёнными, споры менее живыми.

Фурье старался поддерживать интеллектуальный порыв. Он предлагал темы для коллективных размышлений, организовывал чтения древних текстов, чтобы напомнить коллегам, в каком историческом контексте они работают. Эти усилия не были тщетными. Несколько сообщений, представленных в Институте в эти трудные годы, стали важными научными статьями.

Заседание Института в середине июня стало одним из самых оживлённых со времени отъезда Бонапарта и смерти Клебера.

Фурье предложил намеренно отвлечённую тему — понятие памяти в цивилизациях, — и обсуждение быстро вышло за академические рамки.

Первым выступил Жомар. Ему было двадцать два года, и он обладал раздражающей точностью молодых людей, которые правы.

— Цивилизация, забывающая собственные меры, обречена начинать заново. Древний Египет хранил свои меры три тысячи лет. Три тысячи. Вот это, по-моему, и есть великая цивилизация — не столько величие её памятников, сколько срок, в течение которого она передаёт знание, не искажая его.

Марсель возразил.

— Но позвольте, памятники как раз и передают! Без Карнака, без пирамид измерения Жомара ничего бы не передали. Носитель и знание — их не разделить.

— Именно поэтому мы здесь, — парировал Жомар. — Чтобы заменить памятник документом, который легче путешествует.

Фурье слушал, не вмешиваясь, перо неподвижно застыло над столбцом цифр. Он думал о том, что станет с их трудами, если армия капитулирует завтра.

— Ваши съёмки, Жомар… Они в таком состоянии, что их можно скопировать, если придётся эвакуироваться — спешно?

— Двойная копия, ещё с Александрии. Если корабль пойдёт ко дну, одна версия уцелеет.

Фурье некоторое время смотрел на него. Этот юноша понял, что в военной кампании работа, существующая в одном экземпляре, уже наполовину потеряна.

— Вам следует сказать это остальным.

— Я говорил. Большинство сочло это чрезмерным.

— Большинство неправо.

Фурье подумал о британцах. Он не знал, кого они пришлют, но знал, что кого-нибудь пришлют. Кого-то по ту сторону, кто тоже будет составлять свои списки.

В тот вечер Жомар остался один переписывать свои тетради с измерениями. Перо скрипело по бумаге, лампа чадила. Город шелестел за ставнями, муэдзин призывал к молитве, а Жомар ничего не слышал. Переписывать — вот единственное надёжное дело, которым он здесь занимался, думал он порой. Измерить можно с ошибкой, нарисовать можно с ошибкой. Верная копия не обманывала, и она переживала оригинал. Ещё с Александрии каждое измерение существовало в двух экземплярах или не существовало вовсе. Первый — в полевой тетради, сделанный стоя, на ветру. Второй — здесь, за столом, перечитанный, проверенный, сделанный разборчивым.

25 июня 1800 года Жолуа снова отправился с Жомаром, Жоффруа и двумя рисовальщиками в Танис, на северо-восток Дельты, чтобы осмотреть остатки древней столицы фараонов двадцать первой династии.

Они обнаружили обширное поле руин. Разбросанные холмы, под которыми громоздились века городской жизни. Гранитные блоки, обломки статуй. Влажность Дельты разъела то, что песок Верхнего Египта сохранил. Ничего, что напоминало бы Карнак или Дендеру. Это был Египет без декораций, одна лишь материя, рассеянная, без видимого порядка и всё же устроенная по логике, которую могли бы открыть только раскопки. Страбон упоминал это место, напомнил Жолуа, но со времён греков никто не пытался провести его систематическую съёмку. «Это потому, что никто не знал, что здесь столько всего можно увидеть», — добавил Жомар. Жолуа рисовал три дня, до самой ночи, и составил план всего участка, отмечая положение каждого значительного блока.

У входа на участок торговец древностями ждал со своей сумой. Звали его Сулейман аль-Каббани; он приехал из Каира, узнав, что Комиссия собирается в Танис. Он проделал путь накануне и ждал не кого-то определённого, а того, кто поймёт, что стоит купить.

Жолуа остановился перед предметами, которые тот разложил. Среди *ушебти* два были подлинными, он видел это по патине и надписям. Один он купил.

Из Таниса экспедиция направилась в Бубастис, в двух днях пути к юго-западу. Священный город Бастет, богини-кошки. Руины её храма поражали размерами. Геродот описывал его как один из самых великолепных в Египте, а ежегодный праздник привлекал огромные толпы, чему можно было поверить, глядя на протяжённость этого места.

Колонны из розового гранита высотой десять метров лежали поваленными на песке, их цилиндрические стволы были разбиты обрушением на несколько частей. Обломки барельефов усеивали землю — процессии жрецов, праздничные сцены, стилизованные божества. Стиль Позднего периода.

Вокруг храма — некрополь священных кошек. Тысячи мумий в известняковых галереях. Та же забота, что и о людях, — натрон, пелены, саркофаги из дерева или бронзы.

Вскрыв одну из мумий, Жоффруа обнаружил, что тело превосходно сохранилось — кожа, шерсть, кости, сухожилия остались нетронутыми после двух тысяч лет погребения. Домашняя кошка обычного размера.

Грабители уже поработали здесь. Вспоротые ямы, разбросанные мумии, обрывки пелен, рассыпанные по известняковой земле, как бурый снег.

Грабители в некрополях кошек искали амулеты из фаянса или золота, положенные вместе с мумиями, и маленькие бронзовые саркофаги в форме сидящей кошки с поднятыми ушами и глазами, инкрустированными стеклом. Эти саркофаги имели немедленную рыночную стоимость. Александрийские торговцы уже век перепродавали их европейским путешественникам. Сами мумии, ничего не стоившие после того, как с них снимали амулеты, и обычные известняковые саркофаги, слишком тяжёлые и слишком заурядные, чтобы оправдать перевозку, грабители оставляли.

Жоффруа взял шесть хорошо сохранившихся кошачьих мумий. Он завернул их в чистый лён и снабдил этикетками. Для него это были зоологические образцы, древняя египетская фауна, сопоставимая с живыми особями из зверинца Музея естественной истории. Он подумал о том, что скажет Кювье, увидев их, — найдёт в них доказательство неизменности видов, кошку, не изменившуюся за две тысячи лет. И о том, что скажет другой натуралист, который

осмелится думать, что две тысячи лет не в счёт в масштабе изменений. Для грабителей, оставивших их, это были отбросы после извлечения амулетов. Для жрецов Бастет, которые их похоронили, — приношения богине, предназначенные оставаться здесь навечно.

Жолуа нашёл в некрополе, наполовину зарытый в землю, небольшой бронзовый саркофаг в форме сидящей кошки. Высота — двадцать сантиметров. Хвост обвивал лапы в характерной позе египетских кошек. В косом вечернем свете черты мордочки проступали с точностью, которую не скрывала патина, — мышцы щёк, спинка носа, линия сомкнутых губ.

Саркофаг был пуст. Жолуа повертел бронзу в руках. На основании резцом была выбита строка иероглифов. Имя дарителя, вероятно, — той женщины или того мужчины, что принесли эту кошку Бастет в обмен на милость или из обычной набожности. Кто-то другой прочтёт его позже, если эта бронза когда-нибудь попадёт в Париж. Это имя ждало в земле со времён двадцать шестой династии.

Он положил её в сумку. Она весила триста граммов. В Александрии она стоила бы, возможно, двадцать пиастров, если найдётся английский покупатель со вкусом к египетским бронзам. Для науки она была бы бесценна, если это имя когда-нибудь удастся прочесть. Жолуа знал, что эти два счёта никогда не сойдутся и что его собственная рука, только что подобравшая бронзу, ничуть не поправляет дела.

Жоффруа вернулся к Жолуа вечером в лагерь со своими шестью мумиями в ящике. Ночь наступала быстро. У огня они положили свои находки между собой. Жоффруа, весь день решавший, что можно увезти, а что придётся оставить, в последний раз осмотрел мумии и закрыл крышку.

— Что вы с ней будете делать? — спросил Жоффруа, глядя на бронзу.

— Увезу. Нарисую, опишу. В Лувр, когда там появится зал для Египта.

— А при капитуляции? Если британцы…

Жолуа не ответил. Он положил бронзу в сумку, под свои тетради. Они оба это знали. Если капитуляция наступит, бронза отправится в Лондон, в витрину Британского музея.

Экспедиция вернулась в Каир 12 августа после семи недель в Дельте. Она привезла рисунки Таниса, Бубастиса — мест, разочаровывающих для археолога, но отныне задокументированных.

— Конте сделал из Египта свою лабораторию, — сказал Жолуа Фурье. — Куда бы мы ни пришли, он наблюдает, экспериментирует, совершенствует. Если кто и извлечёт из всего этого долговечную пользу, так это он.

Никола-Жак Конте утвердился как изобретатель экспедиции. Мельницы, кузницы, производственные мастерские. Этот бывший воздухоплаватель не рисовал храмы, он решал проблемы, которые ставило их исследование.

Другие учёные, менее стойкие перед унынием, свели свою деятельность к минимуму. Некоторые заболели. Хроническая дизентерия, лихорадка, офтальмии, вызванные песком и солнцем, опустошили ряды Комиссии. Несколько человек умерли в Египте, так и не вернувшись.

В конце лета 1800 года Жолуа организовал новые исследования в Восточной пустыне, в местах, отличных от тех, которые он обследовал прежде. На этот раз он хотел добраться до коптских монастырей, затерянных в скалах между Нилом и Красным морем.

15 сентября 1800 года Жолуа выступил на восток вместе с Жомаром и тридцатью всадниками охраны. Три дня Восточной пустыни, безводной и скалистой.

Утром 18 сентября экспедиция достигла монастыря Святого Антония, обитаемого с четвёртого века.

Коптские монахи встретили гостей с недоверием и любопытством. Около пятидесяти отшельников в чёрных рясах, живших в крайней нищете, молча разглядывали этих парижских учёных.

— Отец мой, — сказал Жолуа настоятелю через Хасана, переводчика Комиссии, — мы пришли не затем, чтобы забрать ваши рукописи. Мы хотели бы их увидеть и, если вы позволите, скопировать.

Настоятель выслушал и удалился на час. Он вернулся с условием. Они могут осмотреть библиотеку, но ничто не покинет монастырь без его разрешения.

Библиотека монастыря занимала небольшой сводчатый зал. Коптские рукописи — некоторые возрастом в несколько веков — хранились в деревянных сундуках.

— Посмотрите на эту, — прошептал Жомар. — Двуязычная псалтирь, греческий слева, коптский справа. Строка за строкой. Если сопоставить две колонки, можно начать читать.

Он пролистал рукопись. Коптские буквы были округлыми, происходящими от греческих, с семью дополнительными знаками, заимствованными из демотического письма. Жомар пересчитал их дважды, кончиком ногтя.

— Согласились бы вы уступить её нам? — спросил Жолуа почти невольно. — Или хотя бы позволить её скопировать?

Настоятель покачал головой.

— Эта рукопись вот уже много веков принадлежит нашему монастырю. Наши отцы сохраняли её из поколения в поколение. Она его не покинет.

Он не повысил голоса. Его руки по-прежнему лежали плашмя на крышке сундука.

Жолуа принял условия и три дня копировал коптско-греческую псалтирь. Кропотливая работа, буква за буквой, над текстом, из двух языков которого он понимал лишь один. Он уехал со своей копией, чернила последних листов едва высохли, в расчёте на то, что кто-нибудь позже поймёт, что с ней делать.

Пока он копировал псалтирь, Жомар исследовал окрестные скалы. Он обнаружил пещеры, служившие жилищами отшельникам первых веков, со стенами, покрытыми процарапанными остриём надписями, — имена, даты, молитвы.

— Эти пещеры тревожат меня, — сказал Жомар. — Люди жили здесь годами, одни, в молитве. Больше ничего. Какое представление о существовании…

Он осёкся. Он думал о надписях, об этих именах, высеченных в скале отшельниками, не рассчитывавшими, что их прочтут. Сам он два года записывал измерения.

— Их аскеза имела свою цельность, — продолжил он. — Пари на вечность. Наше… что ж, на науку. Другими средствами.

21 сентября экспедиция направилась к монастырю Святого Павла, примерно в тридцати километрах к востоку. Библиотека там была больше. Жолуа копировал, Жомар измерял.

Экспедиция вернулась в Каир 29 сентября, привезя копии коптских рукописей и несколько предметов христианского искусства, которые монахи согласились продать. Иконы на дереве, бронзовые кресты, серебряные кадила. Жолуа составил их каталог.

— Эти коптские предметы — недостающее нам звено, — сказал Жолуа. — Копты происходят прямо от древних египтян. Их язык восходит к египетскому языку фараонов.

Изучать коптский — значит приближаться к иероглифам снизу.

II – Дельта и город

Меню со временем оказался более благожелательным к учёным. Смерть Клебера оставила в коридорах дворца пустоту, которую деятельность Комиссии заполняла, по меньшей мере на поверхности. Меню предоставлял эскорт, выделял средства, порой участвовал в заседаниях Института.

Весть о смерти Дезе при Маренго дошла до Каира в начале октября. Жолуа узнал о ней в своём кабинете. Дезе, отбывший во Францию в марте, был лучшим спутником этой экспедиции — тем, кто позволял учёным работать, не торопя их, кто сам смотрел на храмы с вниманием, какого Жолуа не видел ни у одного другого генерала.

Известие пришло с османским курьером, спустя почти четыре месяца после событий. Дезе погиб при Маренго 14 июня 1800 года. В тот же день, что и Клебер, за тысячи километров от него, ведя в атаку свою дивизию, чтобы переломить ход сражения, которое Бонапарт считал проигранным. Пуля попала ему в грудь. Он умер на месте, в тридцать один год.

Жолуа долго оставался в кабинете, не зажигая лампы. Свет убывал. Он дал ему убывать. Снаружи Каир шумел, как всегда на исходе дня. Голоса торговцев, вдали муэдзин, ровный скрип саки, вращавшихся в садах. Он поискал в своих тетрадях записи, сделанные во время похода в Верхний Египет с Дезе. Две с половиной тетради, исписанные с обеих сторон. Дендера, Фивы, Долина царей, Филе. На полях порой встречались пометки Дезе, все сугубо практические. Сколько времени понадобится, чтобы раскопать это место, сколько людей, чтобы сдвинуть этот блок, насколько этот вид песчаника устойчив к влаге.

Эти пометки раздражали Жолуа в то время. Генерал, задающий вопросы снабжения перед Дендерой, — он находил это упрощенчеством. Он перечитывал эти страницы в угасающем свете, листы тихо шелестели на сквозняке от открытого окна. Почерк Дезе был мелким, ровным, с наклоном вправо. Теперь он читал их иначе. Дезе смотрел на те же вещи, что и он, теми же глазами и задавался вопросом, что с ними станет, — как их защитить, сколько времени они выстоят, если ничего не делать.

Он подумал о личных тетрадях Дезе. Генерал вёл походный дневник с самого отплытия. Жолуа видел дневник в его руках несколько вечеров, после бивака, при свете фонаря. Он не знал, что Дезе туда записывал. Он никогда этого не узнает. Эти тетради, должно быть, вернулись во Францию вместе с его личными вещами. Или остались на поле боя. Или достались кому-то. В собственном багаже у Жолуа был перочинный нож, который Дезе одолжил ему в декабре 1798 года и который он так и не удосужился вернуть. Обычный нож, деревянная рукоять, короткое лезвие. Он служил для очинки карандашей почти два года. Он не знал, что с ним теперь делать. Вернуть — но кому? Он оставил его в багаже.

Что становится с тетрадями человека, павшего в бою? Никто этого не знал. У Дезе не было коллекции, не было сумки, набитой *ушебти* и скарабеями. Лишь походные бумаги — из тех, что подбирают, теряют, продают или сжигают.

Жолуа продолжал организовывать новые исследования, на этот раз в западной Дельте, вдали от мест, обследованных в начале лета. Сначала Саис, затем Буто. Плоские телли, мало видимых памятников.

15 октября он выступил с Жомаром и Жоффруа Сент-Илером. Двенадцать дней по возделанным равнинам, в поисках следов великих фараонских городов севера, а также животных видов, которые изображали барельефы. У Жоффруа был метод натуралиста — ничего не

предполагать, сидя в кабинете, сначала увидеть, — и с первого же дня он записывал под латинскими названиями птиц, обитавших на каналах.

Через два дня пути они достигли Саиса. Воздух здесь был влажнее, тяжелее, с запахом затопленных полей. Свет был белым, без сухости пустыни. От великой столицы фараонов двадцать шестой династии ничего не осталось. Несколько гранитных блоков, разбросанных по полям, использованных крестьянами как опоры для своих каналов.

— Два квадратных километра, — сказал Жомар. — Приблизительно, завтра надо будет перемерить цепью. Тысячелетия слоистого заселения, никаких раскопок. Целый город, сжатый в холм.

Рисовать было нечего. Ни видимого памятника, ни обелиска. Лишь поверхность холма, его размеры, его высоты, измеренные барометром. Но в каналах и в стенах домов — повторно использованные гранитные блоки. Обломки колонн, куски резных притолок, части архитрава.

Жомар остановился у берега канала и провёл ладонью по одному из блоков. Розовый асуанский гранит, отполированный с одной стороны и необработанный с других.

— Мы не увезём их, — сказал Жолуа. — Это стены их домов. Нельзя разрушить деревню ради камней.

— Вот они-то и есть подлинные хранители Саиса, — сказал Жомар. — Сами того не ведая, разумеется. Без их домов эти блоки… — он постучал по граниту — давно бы исчезли.

Жолуа взглянул на собственные наброски. Блоки в стенах. Надписи, скопированные строка за строкой. Он сделал то же, что и феллахи, — взял из Саиса всё, что мог, на том носителе, который ему подходил. Они — в граните. Он — на бумаге.

Экспедиция вернулась в Каир 27 октября, побывав по пути на теллях Буто, ещё более голых, чем в Саисе. Мало камней на месте, зато полные обмеры.

В ноябре и декабре Жолуа каталогизировал коллекции. Несколько сотен предметов, собранных за два года. Статуи, амулеты, папирусы, монеты, украшения, природные образцы. Он составлял карточки, исправлял атрибуции. После месяцев в поле чернила сменили пыль на его нарукавниках.

Жолуа случайно обнаружил мастерскую коптских переписчиков в квартале Старого Каира, где всё ещё переписывали от руки богослужебные книги и выделывали бумагу по способам арабских писцов. Старик и двое его сыновей. Они готовили тетради, которые продавались торговцам, а те перепродавали их учёным Комиссии. Жолуа купил там несколько партий.

Однажды утром он попросил разрешения остаться и понаблюдать за работой.

Выделка бумаги следовала хорошо отлаженному процессу. Проклеить лист крахмалом, дать ему высохнуть, затем долго лощить камнем или раковиной, чтобы калам скользил по нему, не впитывая чернил. Жолуа коснулся пальцем поверхности готового листа — гладкого, как кожа, ещё прохладного, с запахом крахмала и тростника, какого он не встречал нигде больше. Результат — мягкий лист сливочно-белого цвета — ничем не уступал лучшей европейской бумаге. Считалось, что этот способ, унаследованный от арабских и коптских переписчиков Средневековья, не изменился ни в одном жесте за века.

Он рисовал руки старого мастера, которые делали эту работу с детства и переняли её от отца, а тот — от своего. Камень ходил взад и вперёд по листу, и глаза за ним не следили.

— С каких пор они этим занимаются? — спросил Жолуа переводчика.

Переводчик задал вопрос. Старый мастер ответил, не поднимая глаз.

— Он говорит, что его научил отец. А отца научил кто-то, кто говорил, что перенял это от древних.

— Древние. Он имеет в виду фараонов?

Новый вопрос. Короткий ответ.

— Он говорит, что не знает. Что это неважно. — Переводчик подыскал слово. — Важно, что руки знают.

Жолуа записал эту фразу. Имени изобретателя бумаги мастер не знал и прекрасно без него обходился. Жолуа посмотрел на свои руки, на чернильные пятна в складках суставов, на мозоль на правом большом пальце, оставленную годами работы углём.

Эту память труд Комиссии воспроизвести не сможет. Гравированные таблицы покажут форму листов и инструментов. Жест — точное давление, угол калама, продолжительность лощения, определяемая на глаз, — всё это никуда не попадёт. Оно умрёт вместе с этим человеком и его сыновьями, если только у его сыновей не появятся свои сыновья, пожелавшие учиться.

Он присмотрелся к рукам старшего сына. Они делали в точности те же движения, что и руки отца.

Он ушёл с тремя новыми листами и рисунком рук, который позднее вставит в рамку в своей квартире на улице Сен-Доминик. Он подумал о старом торговце каллиграфией с Хан эль-Халили, который в вечер вступления в Каир продал Жоффруа три листа и подарил ему четвёртый в знак приветствия. Эти двое принадлежали к разным мирам. Жест у них был один.

У благожелательности Меню была и оборотная сторона. Меню всё больше интересовался трудами Комиссии — до того, что вмешивался в организацию работ и притязал решать, что достойно изучения.

— Генерал Меню хотел бы побольше мечетей и поменьше фараонов, — доложил Жолуа Фурье. — Исламский Египет будто бы политически важнее. Для наших отношений с населением, говорит он.

— Он не вполне неправ, — сказал Фурье, не отрывая глаз от листа с вычислениями. — По существу. Но наши научные приоритеты… — он отложил перо — решать нам. Не ему.

Они нашли компромисс. Несколько учёных, среди них Шаброль и Ланкре, посвятили часть времени изучению исламского периода, документируя средневековые мечети Каира и строительные приёмы арабских каменщиков. Эти исследования, включённые в *«Описание»*, сделали его одной из первых серьёзных европейских работ об исламской архитектуре Ближнего Востока.

Тем временем Жолуа продолжал документировать памятники эпохи фараонов. С годами его метод усовершенствовался. Он начинался с наброска целого, чтобы уловить общие пропорции, продолжался подробными обмерами значимых элементов и завершался копиями иероглифических надписей со всеми видимыми несовершенствами, чтобы позднее можно было сравнивать разные версии одного и того же текста.

— Копируйте то, что видите, — повторял он своим молодым помощникам. — Трещины, лакуны, всё. Идеализированный иероглиф стоит меньше, чем иероглиф с трещиной. Каким он должен быть — это ваше дело, а не дело камня.

Однажды ноябрьским утром, обходя старый исламский Каир, чтобы зарисовать фасады средневековых домов,

Жолуа увидел деталь, которую не забыл. Французский солдат — лет двадцати, в потёртом мундире, с ружьём на плече — остановился перед внешней нишей дома в коптском квартале. В нише стояла бронзовая статуэтка, сантиметров двадцать, сидящая Исида. Старая, несомненно. Патина была густой и неровной.

Солдат посмотрел на неё. Затем взял. Не колеблясь, не оглядываясь. Сунул в патронную сумку и зашагал дальше по переулку. Пятнадцать секунд в общей сложности. Ниша опустела.

Жолуа остался на месте, ничего не сказав. Над этим солдатом у него не было власти, офицера рядом не было. А если бы и была, что бы он сказал? Что эта вещь принадлежит дому? Что хозяин вернётся? Он не знал, кто там живёт и обитаем ли дом вообще. Он знал, что статуэтка стояла в этой нише достаточно долго, чтобы на камне остался более чистый круг от её основания.

Он достал записную книжку и нарисовал пустую нишу. Контур отсутствия. Более светлое пятно там, где годами стояло основание статуэтки. Это было всё, что он мог сделать. Задокументировать то, что только что исчезло. *«Описание Египта»*, быть может, будет содержать рисунок подобной Исиды из коллекций Комиссии. Но не этой Исиды. Эта пролежит в солдатской сумке до побережья, затем окажется на базаре, а затем в марсельской гостиной, если кто-нибудь купит её в порту.

Он ещё некоторое время стоял там, держа книжку открытой на рисунке пустой ниши, потом вернулся во дворец по переулкам коптского квартала. В ещё закрытых лавках на порогах играли дети. Он шёл, не доставая книжки, не рисуя.

III – Земледелие и орошение

Зимой 1800–1801 годов инженеры и агрономы Комиссии занялись египетским земледелием — областью, которую увлечение памятниками до тех пор оттесняло в тень и действенность которой их поразила. Конте представил свои гидравлические труды Институту на первом же зимнем заседании, с пачкой чертежей под мышкой.

— Египетское земледелие умещается в одной фразе. Разлив Нила удобряет поля каждое лето. Всё остальное — каналы, бассейны, машины — лишь организованное управление этим природным фактом.

Он описал шадуф — простой журавль с противовесом для черпания воды — и сакию, колесо, приводимое в движение быком, для больших объёмов. Две машины, которые любой феллах умел построить и починить из местного дерева и верёвки.

— Их можно счесть примитивными. Попробуйте-ка построить лучше из местного дерева, растительной верёвки и глины.

Конте знал по опыту — одна хорошо продуманная простая машина стоит сотни сложных, плохо приспособленных. Египтяне усвоили это за тысячелетия до него.

Он пустил по рукам технические чертежи сети каналов, которая распределяла нильскую воду по всей пригодной для обработки долине. Листы переходили из рук в руки. Гидравлическое древо, разветвлённое на сотни километров и содержавшееся сообща десятками деревень.

— Канал, который не чистят, умирает за три года. Его забивает ил. Здесь это зимняя работа. Сотни людей в воде по пояс. Одна деревня не может содержать большой канал. Нужна власть, которая повелевает всеми деревнями, — фараон, халиф или бей. Я не говорю, что вода создала царя; я говорю, что без него она не обходится.

Параллельно с ирригацией несколько учёных изучали культурные растения и приёмы земледелия. Жолуа проводил дни в полях, наблюдая сезонные циклы, приёмы вспашки, местные сорта, и возвращался по вечерам в сапогах, серых от грязи.

— Те же растения, те же орудия, те же движения, — сказал Жолуа. — Это земледелие Древнего царства. Четыре тысячи лет не изменили в нём главного.

— Египтянам не нужны были удобрения, — сказал Конте. — Нил приносил их каждый год с эфиопских гор. Они направляли воду на поля, ждали, пока осядет ил, затем давали ей стечь до посева.

Марсель, не будучи инженером, обнаружил в этом объяснении ключ к пониманию архитектуры фараоновских храмов. Великие святилища часто были ориентированы перпендикулярно Нилу, их главные оси направлены к реке или по сторонам света в зависимости от сельскохозяйственного календаря. Египетская религиозная астрономия была неотделима от этого календаря, который, в свою очередь, опирался на циклы Нила.

— Видите ли… храм не поворачивается спиной к полям. Он смотрит на реку, откуда приходит жизнь. А солнце заходит со стороны пустыни, там, где хоронят мёртвых. Так что их религия, в сущности, — как бы это сказать — гидравлическая космология. Слово ужасное, простите мне его.

— Нигер, Инд… любая илистая река, если приспособить к ней эту систему, дала бы сопоставимые результаты, — сказал Конте. — Ничего местного здесь нет. Египтяне лишь успели довести её до совершенства.

Абдалла ибн Юсуф, у которого с генералом Мену было общим лишь имя, был *вакилем* гизского канала вот уже шестнадцать лет. Он руководил ежегодной чисткой семи

километров главного канала и его ответвлений, координировал работу четырнадцати деревень, разрешал споры феллахов о распределении воды.

В то утро двое инженеров Комиссии расположились на берегу его главного канала. Высокий худой, с инструментами, — это был Жолуа. Другой не отрывался от своих листов. Они рисовали, измеряли, переговаривались. Переводчик, которого они привели, был не слишком хорош. Он переводил слова, но не смысл. Абдалла понимал это по тому, как тот запинался на технических терминах.

Он наблюдал за ними целый час с другого берега, скрываясь в прибрежном тростнике. Он хотел понять, что они ищут. Они измеряли ширину канала, высоту берегов, уклон дна. Он видел это по жестам высокого худого с его визирным прибором. Солдаты оглядывали бы окрестности. Эти люди смотрели только на канал.

Высокий худой подошёл к нему. Через переводчика он спросил, сколько рабочих дней составляет ежегодная чистка, сколько людей, как распределяются бригады между деревнями. Вопросы *вакиля*.

Абдалла отвечал обстоятельно. Он знал, что эти французы записывают всё. Высокий худой записывал его ответы с быстротой, говорившей о том, что он понимает сказанное, хотя переводчику приходилось нелегко. Когда Абдалла объяснил систему очередей на чистку — каждая деревня отвечает за свой участок, трёхлетняя очерёдность, — высокий худой коротко кивнул, как кивают люди, которым подтверждают то, что они уже предполагали.

Абдаллу смущало не любопытство французов. Смущало то, что они обращались с каналом как с предметом, как с чем-то, что можно измерить, описать, поместить в книгу, а потом понять. Абдалла шестнадцать лет учился тому, что канал не сводится к своим замерам. У него были настроения. В годы сильного разлива он выходил из берегов в местах, где

никогда прежде не выходил. В маловодные годы обнажал трудные участки, которых никто не видел тридцать лет. Чтобы совладать с этим, нужна была память — память, которую передал ему отец и которую он передаст сыну, — а не визирные приборы.

Он оставил их работать. Они ничего не требовали. Ничего не нарушали. К концу утра высокий худой показал ему свой рисунок канала, точный поперечный разрез с отметками в цифрах. Абдалла посмотрел на него, ничего не сказав. Всё было верно. Это был канал. Но там не говорилось, почему левый берег на третьем километре непрочнее правого и как по цвету воды чувствуешь, будет ли ил в этом году хорош или слишком песчан. Рисунок показывал канал. А он канал знал.

Он указал им через переводчика две точки на канале, где измерения были бы интереснее. Точки, которые показал ему отец и важность которых он не умел объяснить. Он это чувствовал, и только. Высокий худой пошёл туда не колеблясь. Должно быть, нашёл то, что искал, потому что провёл на каждой по два часа.

К концу дня, перед уходом, высокий худой спросил его — по-прежнему через переводчика, — сколько времени длится обучение *вакиля*. Всю жизнь, ответил Абдалла. Переводчик перевёл. Абдалла хотел бы добавить, что обучение никогда не кончается, потому что и канал никогда не перестаёт меняться, и что мудрость *вакиля* — в том, чтобы знать, что неизвестное ему по-прежнему больше известного.

Жолуа вернулся в Каир с семьюдесятью двумя мешочками ила и страницами гидрологических замеров. Он думал о *вакиле*, о том, как тот наблюдал за их работой с другого берега, о точности его ответов, о двух точках на канале, которые он им указал. Этот человек не покорно сносил французов. Он рассчитывал. Жолуа подумал о собственном взгляде на эту страну — в измерениях, в отметках, в

поперечных разрезах — и нашёл его не таким уж непохожим.

— А ваш *вакиль*… шестнадцать лет на этом канале, что он вам сказал? — спросил Конте на следующий день, во время представления результатов.

— Что обучение длится всю жизнь. Остального он не сказал. Думаю, он полагал, что неизвестное ему по-прежнему больше известного.

Конте оставил карандаш поперёк листа и посмотрел на мешочки с илом, выстроенные на столе. Семьдесят два образца, взятые вдоль канала и его ответвлений, снабжённые этикетками, пронумерованные, готовые к отправке в Париж. Египетская земля в мешочках из французской холстины. Он представил себе Жолуа на коленях у канала, с пальцами во всё ещё влажном иле, ощупывающего текстуру каждого образца, прежде чем её измерить.

— Их земли, их статуи… — сказал он. — Всё одно. Мы берём то, что нас интересует, и называем это наукой.

Жолуа ответил не сразу. Ил, *ушебти*… и в том и в другом случае что-то покидало Египет, и разница была не столь ясна, как ему хотелось бы.

— Разница, — сказал он наконец, — в том, что можно взять ил, не обеднив поле. Разлив каждый год приносит его вновь. Статуи Нил не возвращает.

— Это практическая граница. Не моральная.

Они помолчали. Снаружи, во дворе, слышны были египетские слуги, ровный стук ступки, голоса по-арабски, и пахло тмином. Эти люди тоже переняли своё ремесло от отцов. Они не отправятся в Париж в холщовых мешочках.

Чистка главного канала началась на третьей неделе декабря. Жолуа спросил Абдаллу, можно ли понаблюдать. Абдалла согласился с выражением лица, которое ничего не говорило.

Бригады работали по деревням, каждая на своём участке. Люди в воде по пояс выдирали со дна ил широкими деревянными лопатами и грузили его в плетёные корзины, которые другие уносили на берега. Ил, сложенный на берегах, затем будет разнесён по полям, до последней корзины.

Жолуа просидел пять часов, наблюдая. Он пересчитал людей, измерил объём ила, извлекаемого за час, записал глубину участков до и после. Ровная производительность, ни лишних движений, ни заминок между бригадами. Эти люди делали это с детства. Ни один не смотрел на свою лопату.

В полдень Абдалла подошёл и сел рядом с ним на берегу. Несколько минут он молча смотрел, как Жолуа записывает цифры. Затем заговорил, и переводчик переводил короткими фразами.

— Он говорит, что дед показал ему место, ниже по течению, где дно канала — коренная порода. Когда дно — коренная порода, канал лучше держится в годы сильного разлива. Его отец это знал. Он это знает. Он хотел узнать, знаете ли вы.

Жолуа посмотрел на переводчика, потом на Абдаллу. За вопросом ему слышался другой. Знают ли они хотя бы, что измеряют?

— Нет, — сказал он. — Я не знал. Покажите мне это место.

Абдалла встал неторопливо. Они шли вместе вдоль канала двадцать минут. Абдалла остановился перед участком, где дно выходило на поверхность. Тёмная порода, отполированная веками течения, исчерченная линиями минеральных отложений. Жолуа опустился на колени. Достал нож и осторожно поскрёб поверхность. Плотный известняк. Канал был прорыт здесь по естественному выходу породы. Кто-то три тысячи лет назад выбрал это место по этой причине.

Жолуа отметил место, сделал набросок породы с её бороздками. Абдалла наблюдал за ним. Когда Жолуа закончил, Абдалла сказал нечто, что переводчик смог перевести не сразу.

— Он говорит, что французы записывают то, что египтяне делают испокон веков. Что, возможно, это полезно. Но что запись не заменяет тысячи лет, в течение которых это делали.

Жолуа убрал карандаш. Это было справедливо. Он не нашёл, что ответить.

Вечером Абдалла проводил Жолуа до окраины деревни, где французский конвой разбил лагерь. Они шли рядом молча, переводчик следовал в нескольких шагах. Солнце стояло низко над западной пустыней, длинный жёлтый свет лежал на полях, уже освободившихся от отступившей воды.

Абдалла остановился. Он некоторое время смотрел на поля, затем сказал нечто, что переводчик передал так. В углу ближайшего поля — он показывал пальцем — лежала груда известняковых блоков, которые он нашёл, чистя канал прошлой зимой. Блоки с надписями. Он не умел читать знаки. Он сложил их там, потому что не знал, что с ними делать.

Жолуа пошёл посмотреть. Четыре блока белого известняка, размером с дыню, сваленные в углу поля, у самого берега. На каждом были рельефные иероглифы хорошей работы. Административная надпись, по-видимому, или вотивная формула эпохи Нового царства. Блоки происходили из разобранного храма, были повторно использованы в стене, а затем упали в канал.

Жолуа зарисовал их. Затем занёс в свой журнал, указав точное местоположение и описание знаков. Он взял самый маленький из четырёх — три килограмма, одна грань с надписью и три необработанные — и положил в свою полевую сумку.

Абдалла наблюдал за ним. Он ничего не сказал. Он показал эти блоки, потому что они казались ему важными, не ожидая, что их заберут. Но француз сначала зарисовал. Он не взял сразу.

— Рисунок останется, даже если блок будет потерян, — сказал Жолуа через переводчика. — Я беру блок, чтобы изучить его в Париже. Если я его не возьму, канал унесёт его в следующем году, и не останется ни блока, ни рисунка.

Абдалла выслушал перевод и пожал плечами — жест того, кто не убеждён, но у кого нет сил спорить, — затем зашагал обратно к деревне.

IV – Время сжимается

8 марта 1801 года около шестнадцати тысяч британских солдат высадились в Абукире и двинулись на Александрию. Война, которую считали завершённой конвенцией в Эль-Арише, возобновилась. Учёные Комиссии, собравшиеся в Каире, поняли, что их отъезд из Египта отныне будет зависеть от военной капитуляции.

Меню мобилизовал свои войска. Но его люди были разбросаны между Александрией, Каиром и Верхним Египтом, и сосредоточить их вовремя было невозможно. 21 марта близ Александрии, у Канопа, произошло несчастливое сражение. Французы сражались хорошо. Но у британцев был численный перевес — и корабли, те самые, которых французам недоставало с 1 августа 1798 года.

С северо-востока приходили тревожные вести. Огромная османская армия под командованием великого визиря Юсуф-паши наступала — двадцать тысяч солдат, усиленных мамелюками. Капитуляция становилась неизбежной. В коридорах Института спрашивали уже не о том, будет ли капитуляция, а о том, когда и на каких условиях уцелеют коллекции.

Вечером 14 марта Фурье созвал чрезвычайное заседание Комиссии. Собрались все учёные, находившиеся в Каире. Около двадцати человек сидели вокруг большого стола в библиотеке Института. Снаружи доносились крики торговцев, закрывавших свои лавки.

— Господа, — начал Фурье, — нам нужно подготовить защиту наших коллекций. В договорах о капитуляции, как правило, оговаривается, что победитель вправе забирать имущество, принадлежащее побеждённому государству. Если наши коллекции сочтут собственностью французского государства, британцы получат право требовать их себе. Именно право, подчёркиваю.

Наступила тишина. Затем слово взял Жомар.

— Мы должны добиться признания их научной собственностью… международной. А не французским военным имуществом. Наши труды принадлежат всеобщей науке, а не какому-то отдельному правительству.

— У британцев есть натуралисты, — сказал Жоффруа. — Будут у них и комиссары, разбирающиеся в древностях. Они будут знать в точности, что у нас есть.

Вмешался Марсель.

— Всё решится на одном различии. Собственность учреждения и личная собственность. То, что куплено из нашего кармана, можно защищать как таковое. То, что собрано от имени Комиссии… защитить будет труднее.

Разговор продолжался три часа. Учёные наметили основные линии своей стратегии. Они не станут противиться изъятию силой, не имея для этого ни средств, ни полномочий, но будут отстаивать свои права перед британскими комиссарами, изложат свои доводы и при необходимости будут торговаться за каждый предмет.

Ночь с 14 на 15 марта они провели за составлением параллельной описи. Официальная опись всего, чем

владела Комиссия, и личная опись того, что каждый учёный держал у себя от своего имени. Марсель работал до пяти часов утра. Он раскрыл свой реестр на сотой странице. Перечитал последние записи. Бронзовая статуэтка Анубиса высотой двадцать два сантиметра, куплена в Хан эль-Халили 3 сентября 1799 года за восемь пиастров у торговца Юсуфа ибн Халиля. Фрагментарный погребальный папирус размером пятнадцать на двадцать сантиметров, куплен у феллаха из Саккары 17 ноября 1799 года за три пиастра. Скарабей из зелёного стеатита, птолемеевской эпохи, куплен на базаре Эзбекия 2 февраля 1800 года за полтора пиастра. Каждую сделку можно было проверить, и другой защиты у него не было.

Реестр занимал сто двенадцать страниц, сто шестьдесят две записи со времени первого базара в Александрии, почти три года назад; в каждой значился предмет, приобретённый на его собственное имя, с указанием даты, места, цены и, если оно было ему известно, имени продавца. Марсель вёл его с нотариальной тщательностью, сразу поняв, что это различие со временем станет важным.

— Устоит ли этот реестр? — спросил Фурье, читавший у него через плечо.

— Устоит в том, что достоверно. Что до остального… устоит, если британский комиссар не станет слишком давить. Комиссар, который хочет забрать всё, всегда найдёт предлог. Разумный комиссар примет это как достаточное доказательство. — Марсель постучал пальцем по переплёту, где вчерашние чернила ещё не совсем просохли.

— Значит, всё зависит от комиссара.

— Да, всё зависит от комиссара.

Судьба Розеттского камня особенно тревожила учёных. Это был самый важный предмет из всех, что им удалось найти. Если он уйдёт в Лондон, расшифровка иероглифов станет

британской победой. Но Марсель принял меры предосторожности. Больше года назад он снял в Каире оттиски надписи, и генерал Дюга отвёз их в Париж. Они дошли. Сильвестр де Саси, крупнейший французский знаток восточных текстов, держал их в руках. Даже если камень уйдёт в Лондон, оттиски останутся в Париже.

— Сведения путешествуют, — сказал Марсель. — Предмет… предмет — нет. Эту битву мы, быть может, уже выиграли.

В последовавшие недели учёные сделали систематическим дублирование своих трудов, которое до тех пор велось от случая к случаю. Библиотека Института превратилась в копировальную мастерскую. Вдоль стен поставили столы, каждый предназначался для определённого вида документов. Один стол для калек с рисунков. Один для переписывания топографических измерений. Один для расшифровок коптских текстов. Один для ботанических и зоологических описаний.

Работа была кропотливой и изнурительной. Жолуа руководил изготовлением ста восьмидесяти трёх калек с самых важных своих рисунков. Храмы Верхнего Египта, пирамиды Гизы и Саккары, гробницы Долины царей. Он нанял трёх молодых армейских рисовальщиков, умевших держать карандаш и следовать линии. Он показывал им оригинальный рисунок и просил сделать быструю кальку, только контуры, без теней и лишних подробностей, — достаточно, чтобы передать главное в архитектуре.

Эти кальки свернули в бамбуковые тубы и вверили греческому купцу, который обязался отправить их в Париж с первым же нейтральным судном. Жолуа выплатил ему пятьдесят пиастров вперёд и пообещал ещё пятьдесят, если тубы дойдут до места назначения.

— Вы ему доверяете? — спросил Жомар, глядя вслед уходящему каравану.

— Нет. — Жолуа смотрел, как оседает пыль за вьючными животными. — Выбора нет. Если одна отправка пропадёт, может быть, дойдёт другая.

Жомар, в свою очередь, перенёс свои последние топографические измерения на второй комплект листов. Работа заняла у него девять дней. Он трудился по вечерам, при свете лампы, переписывая цифру за цифрой, угол за углом. Каждое измерение проверялось дважды. Одна-единственная ошибочная цифра могла обесценить целую серию вычислений. Его тетради заполнялись плотными столбцами чисел, геометрическими набросками, пометками на полях. Копии должны были лечь в иной ящик, нежели оригиналы, и на каждой Жомар отметил номер парного ящика.

Жоффруа не мог продублировать свои банки с рыбами. У образца в спирту копии быть не может. Но он зарисовал каждый образец с точностью, достаточной для того, чтобы натуралист мог узнать вид по одному лишь рисунку. Двести сорок видов, один за другим, с подробными пометками о происхождении, размере, отличительных анатомических признаках. Холодные, точные рисунки, лишённые выразительности, — скорее рабочие документы, чем искусство. Если банки будут уничтожены, листы останутся.

25 марта в Каир пришла более точная весть. Османская армия великого визиря Юсуф-паши двигалась из Сирии и приближалась к границе Египта. Её соединение — рано или поздно — с британскими силами, высадившимися в Абукире, казалось неминуемым. Каиру вскоре предстояло оказаться под угрозой с двух сторон.

Фурье в тот же вечер созвал учёных.

— Господа, нужно ускорить дублирование. Всё, что можно скопировать, должно быть скопировано, и быстро. Потом… потом будет поздно.

Темп нарастал. Работали от рассвета до полуночи. Масляные лампы больше не гасли, и запах свежих чернил стоял даже в коридорах. Учёные работали парами, один диктовал, другой писал. Для копирования административных документов реквизировали военных писарей.

8 апреля работу прервало происшествие. Жомар переписывал серию угловых измерений, снятых в Дендере, когда локоть задел чернильницу. Чернила растеклись по листу. Три часа работы пропали. Он смотрел на испорченную страницу, на чёрное пятно, пожиравшее цифры. Затем взял новый лист и начал снова, строку за строкой. Жоффруа, сидевший за соседним столом, поднял глаза, потом снова склонился над своей рыбой.

В библиотеке слышались лишь скрип перьев по бумаге, шелест переворачиваемых страниц, шёпот между переписчиками. Порой приглушённое ругательство, когда клякса портила почти законченную страницу. Тогда приходилось начинать всё заново.

В апреле Жолуа отправил вторую партию калек с торговым караваном, уходившим к побережью. Он снова заплатил начальнику каравана пятьдесят пиастров вперёд, и тот дважды пересчитал монеты, как человек, знающий, что корабли тонут, ящики падают с повозок, а на дорогах рыскают воры.

Параллельно с копированием учёные вырабатывали свою юридическую стратегию для столкновения с британскими комиссарами. Они составили список предметов, которые будут защищать в первую очередь. Розеттский камень во главе, за ним большие саркофаги, монументальные статуи, натуралистические коллекции Жоффруа, картографические съёмки Жомара, тетради Жолуа. Для каждой категории они подготовили доводы, основанные на различии между собственностью учреждения и личной

собственностью, между собранными предметами и созданными произведениями.

Марсель сформулировал доктрину, которая будет определять их защиту. Рисовальные тетради — не диковинки, а рабочие инструменты. Оттиски — бумага и чернила, изготовленные самими учёными, — не могут считаться древностями. Научные приборы относятся к профессиональному снаряжению, а не к военным трофеям. Натуралистические образцы принадлежат царству природы, а не какому-либо отдельному государству.

— В договорах такого рода говорится о природных и искусственных диковинках, — сказал Марсель. — Прекрасно. Наши труды — не диковинки, это научные произведения. Нам предстоит это доказать.

— Британцы захотят забрать всё, — ответил Жомар. — Не думаю, что доводы…

— Серые зоны, — перебил Фурье. — Наши доводы их создадут. В серой зоне ведут переговоры. Разумный комиссар согласится кое-что оставить. Именно сюда и следует направить усилия.

— А если комиссар окажется неразумным? — спросил Жоффруа.

— Тогда мы потеряем всё. — Фурье неопределённо повёл рукой. — Мы попытались. И копии уцелеют.

Нравственный вопрос о грабеже также обсуждался. На заседании в апреле Жомар поднял проблему, тревожившую всех, хотя никто не решался сформулировать её ясно.

— Мы собрали предметы трёх различных видов. Во-первых, то, что мы создали сами. Измерения, рисунки, записи. Это принадлежит нам, полагаю, бесспорно. Во-вторых, натуралистические образцы. Рыбы, растения, минералы. Они не принадлежат никому, и наш сбор никого ничего не лишает. И наконец… предметы, извлечённые из гробниц,

храмов, некрополей. Они принадлежали Египту. Мы их взяли.

Вмешался Жоффруа.

— В теории — да. На практике… Феллахи, грабящие гробницы, чтобы продавать нам вещи, ограбили бы их всё равно. Мы лишь ускорили то, что уже существовало.

— Это смягчает, — ответил Жомар. — Но ничего не оправдывает.

Жолуа, молчавший во время всего спора, наконец заговорил.

— Есть ещё и практический вопрос. Если мы признаем, что эти предметы принадлежат Египту, у нас не останется никаких доводов против британцев. Если мы объявим их своими, нужно идти до конца. Мы их взяли. Мы их сохраним. Мы опубликуем.

Фурье кивнул.

— Правы мы были или нет, взяв их, — сказал он, — это спор академический. Эти предметы у нас. Британцы будут на них претендовать. Считает ли кто-нибудь здесь, что мы должны уступить их добровольно, во имя нравственных принципов?

Никто не ответил. Ни один учёный в этом зале не был готов добровольно отдать годы труда. Жоффруа смотрел на стол, Марсель — на свои руки.

— Значит, мы единодушны, — сказал Фурье. — Мы будем защищать наши коллекции. Но зная, почему. Потому что они наши, разумеется, — и потому что французская наука, я в это верю, использует их лучше, чем британские военные.

Марсель сделал оговорку.

— А если британцы используют их лучше нас? Британский музей — серьёзное учреждение. Их учёные компетентны. Наш довод о научном превосходстве держится, только если мы действительно опубликуем наши труды. Если наши

коллекции на двадцать лет окажутся в ящиках в Париже, британцы будут правы, что забрали их у нас.

— Верно, — признал Фурье, помолчав. — Нужно будет публиковать. Иначе ничто из того, что мы здесь сделали, не будет оправдано.

12 мая в Каир прибыл офицер, бежавший с одного из постов в Дельте, и привёз новости. Британцы, хозяева Розетты с конца апреля, расспрашивали пленных и торговцев о том, что собрал Институт Египта. Фурье дважды заставил его повторить рассказ. Значит, британские комиссары придут с чёткими требованиями, и их опись, вероятно, уже готова.

В мае военные новости уточнились. Британцы медленно поднимались вверх по Нилу. Османы наступали с северо-востока. Сближение этих армий у Каира было неотвратимо, речь шла лишь о нескольких неделях.

Учёные приложили ещё больше усилий. Каждый день приносил свою долю ограничений и решений, которые нужно было принимать. Что копировать в первую очередь? Что оставить? Как распределить бумагу, чернила, время между проектами, которые все казались одинаково срочными?

Именно в такие минуты становилось заметно различие между учёными. Одни паниковали, хотели спасти всё, начинали десять копировальных проектов одновременно и не заканчивали ни одного. Другие, как Жомар, сохраняли свой метод, расставляли чёткие приоритеты и придерживались их.

Фурье пристально наблюдал за всем этим. Он делал записи — о людях, а не о предметах. О том, как каждый реагировал на давление. Кто сохранял ясность ума. Кто терял её. Эти записи никогда не пригодятся в таблицах *«Описания Египта»*.

Но много лет спустя они помогут ему написать историческое предисловие к этому труду.

В конце мая Фурье зашёл в мастерскую после полуночи. Лампы всё ещё горели. Трое переписчиков работали молча, склонившись над своими листами. Один переписывал топографические измерения. Другой снимал кальку с рисунка храма. Третий списывал ботанические описания. Фурье остановился в дверном проёме. Если британцы заберут всё, эти копии будут тем, что останется. Он постоял немного — никто из них не поднял головы, — потом ушёл.

В середине июня было созвано последнее собрание. Вражеские армии находились уже в нескольких днях пути от Каира. Учёным предстояло сделать последние распоряжения.

Жолуа составил окончательную опись своих туб 20 июня. Двадцать три медные тубы, содержавшие две тысячи восемьдесят семь рисунков. Двести тридцать семь тетрадей с записями. Сто восемьдесят три кальки в первой партии, другие во второй, все уже отправлены. Список он записал на листке, сложил его вчетверо и сунул в карман куртки.

— Господа, — сказал Фурье, — мы сделали всё, что могли. Труды продублированы, описи полны, доводы готовы. Британцы придут со своими списками, у нас есть свои. Остальное зависит от переговоров. Лучше подготовиться мы едва ли могли.

Затем заговорил Жолуа.

— До конца. Они не окажутся в хранилищах британского музея, не послужив науке.

Никто ничего не добавил. Листы сложили, одну лампу погасили. Собрание разошлось ещё до полуночи.

В последние дни июня лавки Каира открывались поздно и закрывались рано. Французские патрули расходились, не

перемолвившись ни словом. В Институте упаковывали, потом распаковывали, чтобы проверить.

V – Поражение в Каире

27 июня 1801 года военное положение было безвыходным. Меню, запертый в Александрии, не мог прийти на помощь Каиру. Генерал Бельяр, командовавший гарнизоном, несколькими днями ранее начал переговоры о капитуляции с генералом Хатчинсоном и великим визирем Юсуф-пашой.

В тот же день была подписана конвенция. Она устанавливала порядок эвакуации армии с оружием и багажом, ничего определённого не говоря о коллекциях Комиссии. Это молчание было лишь отсрочкой. Статья, которая действительно поставит их под угрозу, будет подписана в сентябре в Александрии под номером шестнадцать.

Главное слово умещалось в одну фразу. Армия выйдет из Каира с оружием и багажом. За этой фразой, которую Фурье прочёл вслух на чрезвычайном заседании 28 июня 1801 года, последовала тишина, которую Жолуа позднее сравнил в своём дневнике с тишиной в комнате больного, когда врач только что умолк. Затем заговорили все разом — Жоффруа, Марсель, Жомар, голоса поверх голосов, — пока Фурье не поднял руку.

— Багаж… Распространяется ли это на мои банки? — сказал Жоффруа. — Три года коллекций. Вся фауна Нила. Двести сорок видов, которых никто ещё не описал.

— И мои тетради, — сказал Жолуа. — Двести тридцать семь. Единственные полные съёмки храмов Верхнего Египта, когда-либо сделанные.

— А Розеттский камень? — сказал Марсель. — Он в Александрии, у Меню. Единственный ключ к иероглифам, найденный за три тысячи лет, и он…

Фурье перечитал статью. Армия увезёт своё оружие и багаж. Он искал лазейку в формулировке. Багаж, разумеется, не охватывал ни колоссов, ни саркофагов. Но папирусы, монеты, банки Жоффруа, гербарии, кости? Были ли рисовальные тетради багажом или коллекциями, собранными для Республики? Могла ли рабочая тетрадь художника считаться чем-то иным, нежели личными вещами в смысле договора о капитуляции? Фурье отложил текст, потом снова взял его.

Розеттский камень, находившийся в Александрии, от этой конвенции не зависел. А эстампажи Марселя — бумага и чернила, изготовленные им самим, — относились ли они к багажу, к коллекции или к интеллектуальному труду?

— Слово расплывчато, — сказал Фурье. — «Багаж». Они не определили этот термин. А неопределённый термин — это… переменная. Нам предстоит установить её область — что она охватывает и чего не охватывает.

Юридическая стратегия, выработанная в марте, наконец получила текст, к которому её можно было приложить. Военное сопротивление исключалось, поскольку оружия у них не было и они не сумели бы им воспользоваться. Оставалось сопротивление текстуальное — найти в словах конвенции щели, через которые можно провести свои коллекции. Тетради становились рабочими инструментами, эстампажи — документами, научные приборы — профессиональным имуществом. У каждой категории предметов появилась своя линия защиты.

В дни, последовавшие за прочтением конвенции, в переулках вокруг Института сменились посетители. У дверей стали бродить торговцы из Хан эль-Халили — не продавцы тканей и пряностей, а те, кто много лет торговал древностями и умел читать по жестам европейца, что он хочет купить, прежде чем тот сам это осознавал.

Сулейман аль-Каббани — тот самый, что год назад приходил в Танис со своей холщовой сумой, — явился к дверям Института утром 30 июня с деревянным ящиком. Внутри лежали двадцать два *ушебти* из расписного известняка, пять скарабеев из голубого фаянса, три золотых амулета позднего периода. Он поставил ящик на стол привратника и объявил через мальчишку, служившего переводчиком : «Обычная цена. Пока англичане не забрали всё».

Марсель, случайно проходивший мимо, осмотрел содержимое ящика. *Ушебти* были подлинными, фиванского периода, восемнадцатой или девятнадцатой династии, расписной известняк с ещё яркими пигментами. Подлинными были и скарабеи из качественного фаянса, и золотые амулеты.

— Откуда эти предметы? — спросил он.

Мальчишка перевёл. Сулейман аль-Каббани ответил без колебаний. Из Фив, из гробницы чиновника, найденной прошлой зимой феллахами, которые копали, чтобы расширить свой погреб. Он их купил. Теперь он перепродавал их, потому что знал, что Комиссия покидает Египет, а британцы, менее сведущие, заплатят меньше.

Марсель купил весь ящик за сорок пиастров и составил в своём личном реестре расписку, датированную 30 июня. Двадцать два *ушебти* вошли таким образом в его собственную опись, а не в коллекции Института, и потому, теоретически, ускользали бы от любой реквизиции, направленной на эти коллекции. Местный рынок прочёл договор быстрее дипломатов.

Жоффруа ответил иначе. Юридические лазейки наводили на него скуку. Он хотел силового противостояния.

Жоффруа написал на имя генерала Бельяра письмо на одну страницу. Сдержанное, без лиризма. Он объяснял в нём, что

его натуралистические коллекции представляют собой не имеющую равных полевую работу, что двести сорок видов фауны Нила и Дельты ещё не были описаны европейской наукой и что, если британские комиссары их изымут, он готов скорее уничтожить их, чем уступить.

— Я им не угрожаю, — сказал он Фурье, читавшему черновик через его плечо. — Я их предупреждаю. Вот что произойдёт, если слово «багаж» применят к моим коллекциям буквально.

— И вы думаете, они вам поверят?

— Я сожгу их раньше, чем они решат, верить мне или нет.

Фурье сложил черновик. Жоффруа был не из тех, кто блефует. Всё своё пребывание здесь он выбирался из галерей на коленях, с руками в грязи, сам перенося свои банки со спиртом в жару. Он долго взвешивал эту угрозу, прежде чем написать её. Это был единственный ответ, согласующийся с тем, что он думал о своей работе, — она принадлежала ему, ему самому, а не армии, которая её финансировала. Лучше пусть этих банок не будет вовсе, чем они станут пылиться в лондонском подвале, и открывать их будет тот, кто не поймёт, почему *Polypterus bichir* важен.

— Отправляйте письмо, — сказал Фурье.

Впрочем, копии уже давно были в пути. С той ночи, когда французский флот сгорел и затонул у Абукира, учёные знали, что отрезаны от Парижа. Ни одного французского корабля в портах. Курьеры отправлялись ненадёжными сухопутными дорогами, от каравана к каравану и от порта к порту, и добирались за полгода.

Начиная с 1799 года некоторые стали отправлять пакеты на нейтральных судах — датских, шведских, американских, — заходивших в Александрию ради торговли зерном. Британцы, господствовавшие на море, но щадившие нейтралов, досматривали эти суда лишь изредка.

Фурье отправил таким образом, на датском бриге в октябре 1799 года, рулон бумаги с тридцатью листами лингвистических заметок о коптском языке. Его первый опыт грамматики. Когда он вернулся в Париж в 1801 году, эти тридцать листов ждали его в Институте, слегка заплесневевшие, но вполне читаемые.

Марсель действовал иначе. Ещё зимой 1799–1800 года он сам сделал в типографии, которой руководил в Каире, оттиски Розеттского камня — настоящие эстампажи, полученные нанесением краски на камень и наложением на него бумаги. Генерал Дюга увёз эти листы в Париж весной 1800 года, и Институт передал их востоковедам, в том числе Сильвестру де Саси. Европа уже могла начать читать надпись, которую армия не была уверена, что сохранит.

Жолуа попытался отправить связку рисунков на американском судне в январе 1800 года. Судно было перехвачено британским фрегатом у берегов Крита и обыскано. Бумаги Жолуа были конфискованы, изучены, а затем возвращены, поскольку британцы не увидели в них ничего, кроме художественных зарисовок, не представляющих военного интереса. Ему повезло, и он это знал.

Раз на нейтралов полагаться было нельзя, Жолуа принял другой метод. Все важнейшие документы — его самые значительные рисунки, обмеры Марселя, измерения Жомара — копировались в двух экземплярах. Оригинал оставался у учёного. Копия уходила с первой же оказией. Дойдёт копия — хорошо. Будет перехвачена — оригинал уцелеет.

Жомар изложил это в записке Фурье. Комиссия находится в положении солдат, которые перед боем зарывают боеприпасы в нескольких местах. Если один склад захвачен, остаётся другой. Захват стоил года работы, а не всей работы.

Дублирование сработало для большинства партий. Но не для всех. Две тетради Жолуа, копии которых не были закончены и которые он за недостатком времени отправил в оригинале на шведском судне в конце 1800 года, так и не дошли до Парижа. Уцелели лишь незаконченные копии, оставшиеся в Каире. Что стало с оригиналами, так и не узнали. Потоплены в море, захвачены, затерялись в круговороте левантийской торговли.

Эти две пропавшие тетради содержали около двухсот рисунков области Дельты. Саис, Бубастис, Танис — места, которые Жолуа посетил летом и осенью 1800 года и которые ему не суждено было увидеть вновь. Их копии, менее подробные, вошли в *«Описание Египта»* со сдержанной пометкой «по копиям, оригиналы утрачены».

Это было единственное публичное свидетельство о потере. В своих мемуарах Жолуа не обмолвился о ней ни словом.

Здесь, как видел Фурье, крылась фундаментальная асимметрия между тем, что французы брали у Египта, и тем, что британцы возьмут у французов. Французы брали предметы — камни, бронзу, папирусы — и копии этих предметов. Британцы, когда придёт капитуляция, возьмут предметы и оставят копии. Бумага и чернила не имели цены ни в описях мирного договора, ни в залах музея.

Фурье подытожил её на одном из заседаний Института в трёх фразах.

— Они возьмут оригиналы. Мы — копии. А копии… они-то и есть настоящая добыча.

Он сказал это стоя, перед ящиками, не колеблясь. Но он не сказал — и сформулирует лишь годы спустя, в заметках к *«Описанию»*, — что эта асимметрия не была случайной. Предосторожность побеждённого, принятая ещё до поражения. Это, пожалуй, была единственная форма стратегического ума, которую учёные по-настоящему

проявили с самого начала. Но, сев на место, он спросил себя, правда ли это или просто то, что люди рассказывают себе, чтобы вынести то, чему не смогли помешать.

У учёных было семнадцать дней.

Между подписанием конвенции и выступлением колонны — ни днём больше. Никто не сказал, что этого слишком мало.

То, что эти люди делали всё это время, не походило на то, к чему они готовились. Они готовили доводы — списки, записки, юридические различия между диковинкой и произведением, между личной собственностью и коллекцией Института. Они работали молча. Вскоре заседаний не стало. Каждый оставался в своих кладовых, у своих ящиков. Разговоры, которые всё же случались, были короткими и деловыми — о том, какую верёвку брать, какой вес приходится на колесо, сколько слоёв холста нужно для банок.

В Институте слышались теперь лишь стук молотков да шорох соломы.

Одним вечером Фурье зашёл к Жолуа и заговорил с ним о длинной цепи, пронизывающей историю. Римляне, лишившие Египет обелисков, крестоносцы, разграбившие Византию, короли, наполнявшие свои кабинеты редкостей. У каждой эпохи свои оправдания. А жертва оставалась неизменной. Жолуа выслушал его до конца. «Пожалуй», — сказал он и вернулся к своему ящику. Фурье ушёл.

Затем, утром семнадцатого дня, когда повозки были готовы, никто не отдавал приказов. Люди вышли во двор, сами построились и заняли места в колонне, хотя их никто об этом не просил, — как солдаты, впервые со времён Тулона.

Запах дерева, клея и спирта стоял в коридорах Института, когда колонна начала строиться во дворе. Жолуа в последний раз прошёл по залам. На стенах оставались следы

коллекций, три года занимавших столы. Круги пыли там, где стояли банки, меловые линии там, где Жомар закреплял свои листы с измерениями. Дыры от гвоздей в балках, на которых подвешивали мумии для анатомических зарисовок.

Жолуа вышел во двор. Колонна ждала. Повозки были нагружены. Вьючные животные пыхтели в утреннем зное.

Жолуа в последний раз проверил, хорошо ли закреплены его сумки на боку выделенной ему лошади.

Египет, который сохранит Франция, умещался в том, что человек мог увезти в седле. То, что она взяла у Египта, катилось позади него, в ящиках, которые британцы вскроют через два месяца. Он затянул подпругу. Сигнала никто не подаст, и он его не ждал. Он первым выехал со двора.

VI – Спуск к Розетте

В середине июля началась эвакуация Каира. Тринадцать тысяч человек, из них пять тысяч больных или выздоравливающих, двести гражданских, оставшиеся в Каире учёные Комиссии — все выходили из города колонной под командованием генерала Дама. Некоторые оглядывались назад. Большинство не сводило глаз со спины идущего впереди.

В первый день, ближе к вечеру, османский патруль преградил колонне дорогу. Двадцать турецких всадников в форме под командованием бея, говорившего по-французски. Они пришли из лагеря великого визиря.

Генерал Дама выехал вперёд один, чтобы поговорить. Бей спешился. Разговор длился десять минут. Учёные, собравшиеся в центре колонны, не могли слышать, но видели жесты. Бей указывал на север. Дама показывал бумагу, вероятно, конвенцию об эвакуации, подписанную с союзными генералами.

Фурье подошёл на расстояние, с которого было слышно, и расслышал слова бея.

— Вы покидаете Каир. Это хорошо. Но ваши ящики остаются в Египте.

Дама ответил что-то, чего Фурье не разобрал. Бей настаивал.

— Эти предметы принадлежат Египту. Вы взяли их из наших храмов, из наших гробниц. Они не уйдут.

— Сударь, мы подписали конвенцию с союзными генералами, в том числе с вашим великим визирем. Именно с ними вам и следует обсуждать эти вопросы.

Бей сделал знак своим всадникам. Двадцать копий поднялись. Дама не шелохнулся.

— Если вы попытаетесь остановить эту колонну, вы нарушите конвенцию, которую подписали ваши же начальники. Не думаю, что Константинополь вам это приказывал.

Бей колебался. Он посмотрел на ящики на повозках, на французских солдат, развёрнутых в боевом порядке, затем на пустой горизонт позади себя. Османских подкреплений не было видно.

Он снова сел на коня.

— Мы проводим вас некоторое время. Для присмотра.

— Как вам будет угодно.

Турецкий патруль два дня следовал за колонной на расстоянии ста метров. Всадники ни с кем не разговаривали. На рассвете третьего дня они исчезли. Дама предположил, что они вернулись с докладом к великому визирю.

Вечером третьего дня Жолуа без особой веры спросил Фурье.

— Думаете, они вернутся?

— Османы? Нет. Город у них. Они хотели выяснить, действительно ли мы его… опустошили. Теперь они это знают.

— И что тогда?

— Тогда они подождут, пока британцы заберут у нас наши ящики. А потом потребуют их у британцев. Это проще, чем отнимать их у нас.

Жолуа поискал возражение, не нашёл и поворошил костёр концом палки.

Учёные шли в середине колонны, их багаж ехал на повозках. Облегчение оттого, что опасность миновала, и печаль расставания с Египтом у большинства уже уступали место тревоге за коллекции.

Двигались небыстро. Тринадцать тысяч человек с повозками в песке — это медленное продвижение, ритм которому задавали остановки и перераспределения груза, когда животное начинало хромать или колесо увязало.

Жолуа большую часть пути шёл пешком, чтобы поберечь лошадь. Всякий раз, когда животное спотыкалось о камень или о ямку в песке, он слышал, как тубусы глухо стукаются о седло, и оборачивался.

Главной заботой Жоффруа была жара, действовавшая на его банки со спиртом. Стекло расширяется от жары, спирт тоже, но не с одинаковой скоростью. И если расширение вызовет микроскопическую трещину, спирт испарится, а экземпляры за несколько дней придут в негодность. Каждую банку он обернул двумя слоями влажной ткани, которую его помощники обновляли на каждой остановке, расходуя свои запасы воды.

— Вы переводите воду, — сказал ему офицер, заметивший эти приготовления.

— Воду можно заменить. Эти экземпляры — нет.

Офицер отошёл, не настаивая. В июльском зное, среди людей, страдавших от жажды, довод никого не убеждал. Жоффруа продолжал.

На четвёртый день один из ящиков Жомара соскользнул с повозки при переходе через дамбу и приоткрылся в песке. Люди остановились. Жомар спрыгнул с лошади, отстранил солдат, пытавшихся помочь, и осмотрел свитки один за другим. На трёх из них в складках вощёной ткани виднелись лёгкие следы песка. В бумагу не проникло ничего.

Жомар заново заколотил ящик и велел погрузить его иначе, плашмя, с дополнительной верёвкой.

— Вам повезло, — сказал Фурье, наблюдавший всю сцену.

— Это не везение. Это верёвка.

На закате пятого дня двое гвардейцев привели в лагерь дезертира. Молодой человек лет двадцати, судя по выговору, уроженец Лиона, бежавший из Каира за три дня до эвакуации. Его нашли спрятавшимся в пальмовой роще, голодного, с окровавленными ногами.

Генерал Дама велел привести его в свою палатку. Фурье, проходивший неподалёку, слышал допрос.

— Почему ты дезертировал?

— Я хотел остаться в Египте, мой генерал. Не возвращаться во Францию.

— Остаться зачем?

— Работать. Жениться, может быть. Здесь я могу жить. Во Франции я вернусь на фабрику.

Дама долго смотрел на него, ничего не говоря.

— Ты знаешь, что бывает с дезертирами?

— Да, мой генерал.

— Знаешь и всё равно дезертировал?

— Мне двадцать три года. Я провёл здесь три года. Я выучил арабский. Теперь я знаю Каир лучше, чем Лион. Что мне делать во Франции?

Дама велел вывести дезертира и позвал адъютанта. Фурье услышал приговор. Ни военного суда, ни расстрела — в неделе пути от Розетты. Дезертир пойдёт в кандалах до Розетты, а затем вернётся в строй. Сержант заклепал ему кандалы на лодыжках. Молот ударил дважды. Человек не закричал.

На следующее утро он шагал со своей ротой, лодыжки были стёрты кандалами. Жоффруа, обладавший медицинскими познаниями, дал ему бальзам.

— Намажьте этим вечером. Это убережёт от заражения.

— Спасибо, сударь.

— Почему вы на самом деле дезертировали?

Солдат помедлил.

— Потому что… я не хочу видеть, чем всё кончится с англичанами. Наши открытия им отдадут. Я носил ящики господина Жомара в Фивах. Я видел, что мы измеряли, что рисовали. И теперь всё отдают. Вот я и предпочёл остаться здесь.

Жоффруа ничего не ответил и закрыл баночку с бальзамом. Солдат побрёл к своей роте, волоча кандалы.

В тот вечер Жоффруа пересказал этот разговор Марселю.

— Этот парень понял то, чего многие офицеры ещё не поняли. Мы возвращаемся не победителями. Мы возвращаемся… как бы это сказать. Обобранными.

— Да, он понял. И пошёл за это в кандалы.

— Да, — сказал Жоффруа и больше ничего не добавил.

Дезертир шёл с колонной до самой Розетты. Фурье позднее узнал, что тот воспользовался суматохой прибытия и

скрылся в одной из деревень на берегу реки. Во Францию он так и не вернулся.

На шестой день песчаная буря обрушилась на колонну, когда она остановилась на привал в одной из деревень Дельты. Солдаты укрывались как могли в брошенных домах или под опрокинутыми повозками. Песок шёл отовсюду разом, вихрем, ища щели, открытые рты, приоткрытые глаза. Люди закрывали лица плащами и дышали сквозь ткань. Лошади поворачивались крупом к ветру, закрыв глаза и сжав ноздри. Верблюды опускались на колени и ждали, терпеливые и безразличные, словно ждали песчаных бурь испокон веков, что было недалеко от истины.

Учёные накрыли свои ящики одеялами и наспех сооружёнными навесами и долгие часы удерживали эти укрытия против ветра, подхватывая ремни, которые срывали порывы. Песок проникал повсюду. В одежду, в глаза, под пробки. Жолуа одной рукой держал лошадь, другой придерживал одеяло на своих сумках, повернув лицо к шее животного, чтобы дышать.

Жоффруа перемещался от ящика к ящику, выкрикивая указания, которые ветер уносил раньше, чем они достигали адресата. Опасностью на этот раз была уже не жара. Намокший тубус Жолуа — это смазанные рисунки. Засыпанный песком свиток Жомара — это измерения, которые можно восстановить, немного потрудившись. Но разбитая в ящике банка, спирт, растекающийся по другим банкам, соприкосновение с фонарём — и вся коллекция фауны Нила уходила в дым. Он велел погасить все фонари на пятьдесят метров вокруг. Работали в абсолютной темноте, на ощупь, узнавая ящики по форме и по тому, как они отзывались на удары кулаком.

Его помощники — двое молодых студентов Политехнической школы, плохо переносившие жару

пустыни на протяжении всего пути, — той ночью работали без жалоб. Каждый ящик проверен, каждый ремень затянут, каждая пробка осмотрена в темноте. Когда буря стихла около четырёх часов утра, руки Жоффруа всё ещё сжимали ремень последнего ящика.

Утром итог свёлся к сорванной пробке на одном тубусе Жолуа, трём листам с чуть расплывшимися чернилами и одной банке с рыбой с микротрещиной у основания. Экземпляры переложили в запасную банку.

Жоффруа взял её из Каира именно для этого и ни для чего другого.

На седьмой день около полудня колонна встретила обоз коптских беженцев, бежавших к побережью. Около тридцати семей с ослами, нагруженными узлами, дети, шагавшие босиком по песку, старики, которых несли на наспех сделанных носилках.

Их предводитель, священник, говоривший по-французски, подошёл к Дама.

— Мой генерал, мы бежим от расправы. С тех пор как французы покидают Каир, османские ополченцы жгут наши церкви. Мы идём на побережье, чтобы встать под британскую защиту.

Дама приказал раздать воду. Священник отказался.

— Берегите воду для ваших солдат. У нас есть колодцы в двух часах пути отсюда. Но скажите мне, будут ли британцы защищать христиан, когда вы уйдёте?

— Не знаю, отец мой. Это не моё дело.

— Это было вашим делом, когда вы обещали нам свободу веры в 1798 году. Теперь вы уходите, а мы остаёмся.

Дама не ответил. Священник вернулся к своему обозу.

Марсель слушал этот разговор. Он повернулся к Фурье.

— Мы многое обещали, когда прибыли. Освобождение египтян, конец мамлюков… Конец угнетению коптов. Модернизацию страны. И мы уходим, оставляя Египет таким, каким нашли. Хуже, быть может.

— Но кое-что мы всё же оставляем. Измерения Жомара, рисунки Жолуа… Наши труды будут опубликованы.

— Да. Мы оставляем книги. А они остаются с расправой.

Коптским беженцам предстояло продолжить путь на север, французской колонне — на северо-запад, каждому на своей развилке дороги.

Жомар, не проронивший ни слова за всё время разговора, спросил священника, прежде чем тот удалился :

— Ваша каирская церковь, церковь Святого Сергия, она сгорела?

— Нет, сударь. Пока нет. Но сгорит.

— Откуда вы знаете?

— Потому что она горит всегда. Каждые двадцать лет, каждые тридцать. Такова история Египта. Вы были здесь лишь проездом.

На восьмой день марша они прошли через деревню, жители которой бежали. Закрытые дома, пустые улицы, запах горячего хлеба из пекарни, брошенной всего несколько часов назад. Колонна не остановилась. Солдаты шли, глядя прямо перед собой.

Несколько солдат отделились от колонны. Две минуты спустя они вышли из одного двора. Один нёс глиняный кувшин высотой в метр. Внутри позвякивало что-то металлическое. Офицер отозвал их. Кувшин бросили на обочине дороги.

Жолуа остановился. Он поднял кувшин. Внутри лежали семь бронзовых монет Птолемеев, три скарабея из фаянса и

амулет Упуата из расписного известняка — всё домашнее сокровище семьи, ушедшей с тем, что могла унести.

— Что с этим делать? — спросил Жомар.

Жолуа осмотрел монеты одну за другой, перевернул их, мысленно датировал. Птолемей IV или V, судя по профилю. Скарабеи были хорошей работы. На амулете Упуата глаза были обведены красной охрой.

Жолуа положил всё обратно в кувшин. Оставить его на дороге, где его подберёт первый встречный, было нельзя. Он поставил его в тени, у подножия стены ближайшего дома, в ямку, которую слегка выдавил каблуком сапога, чтобы кувшин не покатился, — там, где хозяин найдёт его по возвращении, если вернётся.

— Идём дальше.

Они догнали колонну. Кувшин остался у стены.

На десятый день они впервые за много месяцев увидели море. Несколько солдат закричали. Учёные смотрели молча. Свет на воде отличался от света на песке. Холоднее, подвижнее, тот средиземноморский синий, который Жолуа пытался написать при отплытии из Тулона три года назад так и не найдя нужного цвета.

— Море, — сказал Фурье.

Больше он ничего не сказал. Он хотел сказать «а теперь британцы».

Утром одиннадцатого дня, примерно в двадцати километрах от Розетты, двое британских офицеров верхом догнали колонну. Они прибыли из лагеря генерала Хатчинсона с подписанным предписанием, поручавшим им досмотреть французский багаж перед входом в город.

Дама принял их с ледяной учтивостью.

— Господа, мы войдём в Розетту с опечатанными ящиками. Досмотр состоится при погрузке на суда, как предусматривает конвенция, не раньше.

Британский лейтенант, молодой человек лет тридцати по фамилии Торнтон, настаивал.

— У нас приказ проверить, что вы не везёте боеприпасов и военного снаряжения. Это формальность.

— Формальность, которая подождёт погрузки. До тех пор мои повозки не открываются.

Торнтон посмотрел на ящики, выстроенные на повозках. Он видел номера, нарисованные на боках, от I до LXIII. Шестьдесят три ящика под брезентом.

— Генерал, если вы откажетесь от досмотра, мы можем задержать вашу погрузку на несколько дней.

— Задерживайте. Мы разобьём здесь лагерь и подождём.

Другой британский офицер, постарше, вмешался.

— Лейтенант, оставьте. Это учёные. Не контрабандисты. Камни и рисунки — вот что там внутри. Генерал Хатчинсон это знает.

Торнтон поколебался, затем отдал честь и уехал со своим коллегой.

Фурье повернулся к Дама.

— Вы думаете, они в самом деле нас задержат?

— Нет. Они хотели увидеть нашу реакцию. Узнать, есть ли нам что скрывать. Теперь они знают, что мы будем защищать наши ящики.

— И это хорошо?

— Смотря какой будет комиссар. Если переговорщик — да. Если грабитель…

Колонна возобновила марш. В одиннадцать часов на горизонте показались пальмы Розетты, затем устье реки.

Британские фрегаты стояли на якоре в открытом море. Дым их кухонь поднимался прямо в безветренное небо.

В ту ночь они разбили лагерь в двух часах пути от Розетты. На горизонте были видны огни города. Ещё не очертания, лишь низкое, рассеянное сияние. В первые недели экспедиции такой свет на горизонте означал бы город, который предстоит занять, карту, которую надо составить, работу. В эту ночь он возвещал британцев.

При свете низко опущенного фонаря Фурье перечитал первые страницы записки Жомара. Довод был прочен. Уснуть ему мешал вопрос, будет ли у британского комиссара простор для толкования его инструкций. Дипломат со строгими инструкциями не слушает доводов. Он фиксирует их и пересылает в Лондон. Дипломат с запасом свободы может дать себя убедить. Фурье не узнает этого, пока не окажется с ним лицом к лицу. Он сложил листки и прикрутил фитиль.

С тех пор как они стали лагерем, Жоффруа дважды проверил свои ящики. Пробки держались. Оставалось только спать. Жомар записал в блокноте перечень предметов, отнесение которых к научным инструментам он намеревался отстаивать. Не как курьёзы, подлежащие изъятию. Тридцать две позиции. Затем он уснул не раздеваясь.

Жолуа остался сидеть снаружи, когда костёр в лагере погас. Небо было ясным. Он прижимал к себе сумки, в которых лежали самые ценные тетради. Завтра британцы, их комиссар, записка, споры о том, что кому принадлежит и по какой статье.

Колонна достигла Розетты в конце июля 1801 года. Двенадцать дней пути от Каира. Войска Бельяра в последующие недели погрузились в Абукире на британские суда. Учёные же добились, чтобы их вместе с ящиками доставили морем в Александрию под парламентёрским

флагом, чтобы разделить участь коллекций Института. Меню всё ещё удерживал город, блокированный британцами с весны и осаждённый с 17 августа. Учёных разместили в портовых складах, их ящики громоздились вокруг. Обсуждение коллекций отложили до капитуляции Меню, когда британцы смогут их потребовать. Больше месяца, пока Меню вёл переговоры, а британцы терпеливо ждали, учёные берегли свои ящики.

ГЛАВА IV : КРУШЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

I – Великие древности

3 сентября 1801 года, на следующий день после подписания конвенции о капитуляции Александрии, британский комиссар Уильям Ричард Гамильтон явился на портовый склад, где были расквартированы французские учёные, в сопровождении Эдварда Дэниела Кларка, антиквара, назначенного генералом Хатчинсоном для проведения физического осмотра коллекций.

Гамильтон, секретарь лорда Элгина, двадцати четырёх лет от роду, получивший в Кембридже образование в области классических древностей, координировал дипломатические переговоры. Кларку поручили опознать и переписать французские коллекции предмет за предметом. Они прибыли с секретарём и двумя солдатами, несшими чистые реестры.

Жолуа и Фурье официально представляли Комиссию на этих переговорах. Жомару же предстояло защищать картографические съёмки и измерительные приборы. Он предвидел доводы противной стороны, один за другим.

Накануне первой встречи с Гамильтоном он переработал в юридических терминах записку, составленную в апреле. Всю ночь. В Политехнической школе его научили предвидеть возражение прежде, чем оно прозвучит. В Египте он убеждался в этом раз за разом, защищая одно оспариваемое измерение за другим, и не видел, почему право должно подчиняться иной логике. Новая редакция выделяла, в том, что касалось Жомара, три категории предметов.

Во-первых, древности в строгом смысле слова, предметы, существовавшие до экспедиции и находившиеся в Египте

независимо от какого-либо французского труда. Категория, подлежащая изъятию без обсуждений.

Во-вторых, интеллектуальные продукты — измерения, вычисления, наблюдения, рисунки, выполненные членами Комиссии. Эти труды не существовали, пока не были созданы. Их нельзя было приравнять к найденным предметам.

В-третьих, серая зона — научные инструменты, привезённые из Франции. Ни древности, ни труды Комиссии, а рабочие орудия, изъятие которых лишило бы Комиссию способности работать в дальнейшем.

— Это очень ясно, — сказал тогда Фурье, не поднимая глаз от последнего листа. — Остаётся узнать, восприимчив ли Гамильтон к ясности. Это величина, которая плохо поддаётся измерению.

— Если нет, — сказал Жомар, — значит, его инструкции обязывают его игнорировать юридические различия. И тогда никакой довод не подействует.

— Вы пессимист.

— Точен.

Фурье улыбнулся.

Кларк вошёл во двор склада. Он остановился посреди двора, медленно повернулся вокруг себя и, обведя двор взглядом, пересчитал ящики. Шестьдесят три. Плюс неупакованные предметы. Статуи, саркофаги, колонны, сложенные у северной стены. Его секретарь, молодой кембриджец по имени Джон Мартен Криппс, достал блокнот и принялся делать записи. Он отмечал всё. Число ящиков, их примерные размеры, состояние верёвок, которыми они были обвязаны.

Жолуа наблюдал за Кларком, который наблюдал за коллекциями. Впервые британец видел всё, что Комиссия

собрала за три года. Кларк ничего не показывал. Ни удивления, ни удовлетворения. Он считал.

— Господа, — сказал Кларк, повернувшись к Жолуа и Фурье, — в соответствии со статьёй шестнадцатой конвенции о капитуляции, подписанной 2 сентября, я уполномочен вступить во владение арабскими рукописями, статуями и прочими коллекциями, собранными для Французской Республики, отныне являющимися общественной собственностью и находящимися в распоряжении генералов союзной армии.

Наступившая тишина длилась три секунды. Жолуа медленно положил реестр, который держал в руках.

— Всё целиком, господин Кларк? Каждый предмет, каждый рисунок, каждый образец… собранные за три года?

— Так говорит статья шестнадцатая.

— Статья шестнадцатая, — ответил Жолуа резким голосом, — говорит о коллекциях, собранных для Республики. Не о наших интеллектуальных трудах. Не о наших научных инструментах. Не о коллекциях, которые некоторые из нас приобрели на собственные деньги.

Кларк открыл свой реестр на первой странице. Гамильтон, стоявший чуть поодаль, вмешался прежде, чем Кларк успел ответить.

— Господа, — сказал Гамильтон, — никто не оспаривает, что вы трудились. Ни ценности ваших трудов. Но условия капитуляции… ясны. Господин Кларк осмотрит ваши коллекции предмет за предметом, а вы изложите свои доводы по каждой категории предметов. Мы выслушаем. Мы рассудим справедливо.

Слово взял Фурье. Его голос был спокойнее голоса Жолуа, но не менее твёрд.

— Тогда нужен метод, господин Гамильтон. Мы предложим классификацию предметов по отдельным категориям. Вы

рассмотрите наши доводы категория за категорией. Ни в одном осмотре отказа не будет. Но каждое изъятие — с обоснованием.

Гамильтон кивнул.

— Это разумно. Господин Кларк?

Кларк закрыл реестр.

— Я принимаю эту процедуру. Но предупреждаю вас, что мои инструкции строги. У меня нет никакой свободы толковать статью шестнадцатую шире того, что в ней прямо сказано.

Жолуа не шелохнулся.

— А у нас, господин Кларк, нет ни малейшего намерения позволить вам конфисковать три года нашей жизни без обсуждения каждого предмета.

В течение девятнадцати дней, что длилось противостояние с Кларком и Гамильтоном, всякий раз, когда спорный предмет требовал научной экспертизы — карта, съёмка, инструмент, — звали Жомара. Он говорил мало, раскладывал свои документы на столе, отвечал на вопросы с такой скупостью, что сбивал с толку Кларка, привыкшего к более риторическим доводам французов. Эта роль ему подходила. Переговоры походили на измерение больше, чем он мог предположить, — держаться фактов, не уступать ничего непроверяемого, знать, в какой момент замолчать.

— Ваш коллега грозный противник, — сказал Кларк Жолуа однажды вечером. — Он ничего не уступает и ничего не переоценивает. Редкость на переговорах.

— Он математик.

— Это заметно.

Утром 4 сентября Кларк вернулся в сопровождении нескольких помощников и приступил к осмотру коллекций

Института. Гамильтон присутствовал в качестве наблюдателя.

Первой рассмотренной категорией стали великие монументальные древности. Саркофаги из гранита и базальта, колоссальные статуи, барельефы, снятые с храмов. По этим предметам французские учёные не могли выдвинуть ни одного убедительного довода в пользу личной собственности. Эти памятники существовали задолго до Комиссии, которая лишь обнаружила их.

— Мы не оспариваем ваше законное право на великие древности, — сказал Фурье, глядя в точку над плечом Гамильтона. — Мы лишь хотим, чтобы история сохранила память о том, кто их обнаружил. Французская Комиссия. А не британская армия.

Гамильтон согласился.

— Даю вам слово, что Британский музей признает, что эти древности были обнаружены вашей Комиссией.

Кларк составил опись крупных древностей, Гамильтон заверял каждую запись в реестре. Жолуа, стоя рядом, смотрел, как каждый предмет уходит из двора в реестр.

Розеттского камня недоставало.

Найден в июле 1799 года французскими солдатами, укреплявшими оборону форта Жюльен близ Розетты, — вделанный в стену старого мамелюкского форта, использованный вторично как строительный материал. Царский декрет 196 года до нашей эры, высеченный тремя видами письма, — иероглифы вверху, демотика посередине, греческий внизу. Греческий умели читать. Остальное ждало расшифровки. Но генерал Мену притязал на камень как на свою личную собственность, и никто на складе не знал, где он находится.

Кларк всё же внёс его в реестр, условно, оставив за собой право дополнить запись, когда предмет найдётся. Решать

будет генерал Хатчинсон, а Хатчинсон, как было известно, решит не в пользу Мену.

Марсель смотрел, как Кларк пишет в своём реестре. Перо царапало бумагу сухим, окончательным звуком. «Розеттский камень. Чёрный гранит. Трёхъязычная надпись. Объявлен генералом Мену своей личной собственностью. Подлежит изъятию на основании статьи 16, Александрийская конвенция, сентябрь 1801 года».

Марсель ничего не сказал. В Каире, в месяцы, последовавшие за находкой камня в июле 1799 года, он провёл две ночи напролёт лёжа на спине, с поднятыми над головой руками, похлопывая влажную бумагу, чтобы сделать оттиски. Плечи болели у него неделю. Пальцы долго пахли типографской краской, смешанной со скипидарной смолой. Этот едкий, липкий запах, который не уходил, даже когда он трижды мыл руки.

У него оставалось двадцать пять полных оттисков в плоской папке, надёжно переложенных листами промокательной бумаги. Остальные были разосланы по всем концам Европы. Каждый знак, каждая трещина, каждая неровность поверхности воспроизводились с точностью, которой лучший рисовальщик никогда не мог бы достичь. Кларк мог забрать камень. Марсель твёрдо решил сохранить текст.

Жомар, стоявший рядом, не шевелился. Он не смотрел на камень. Он смотрел на Кларка.

Фурье же делал заметки мелким убористым почерком на полях. Он уже прикидывал, что можно будет выторговать взамен этой первой уступки.

Жолуа наблюдал за Кларком, ничем себя не выдавая. Он уже смирился с тем, что камень уйдёт. Оставалось спасти остальное. Рисунки. Тетради. Оттиски Марселя. Коллекции Жоффруа.

Кларк поднял глаза от реестра.

— Камень остаётся в реестре. Решит генерал Хатчинсон.

Марсель отвернулся и сунул плоскую папку под мышку. Он не хотел представлять себе британских солдат, несущих караул перед Розеттским камнем. Это было мелочно. И всё же он это себе представлял.

Этот камень он трогал. Он знал на нём каждую шероховатость, каждую крупицу поверхности. Он знал, где тот чуть более гладкий, там, где древние руки тёрли его, быть может, жрецы, читавшие его две тысячи лет назад. Он знал, где тот шершавый, там, где его раскололи, а затем использовали в стене мамелюкского форта.

Жолуа на миг закрыл глаза. Его нашли люди Бушара, с него сделал оттиски Марсель, его занесли в реестры Комиссии. Через несколько дней артиллеристы армии Его Величества поднимут его на лафет.

Это не отличалось ни от того, что Франция сделала в Италии, ни от того, что делали до неё римляне. Цепь была длинной.

Затем Кларк добавил на полях своего реестра пометку «Обнаружен французской экспедицией в 1799 году».

Жолуа наблюдал. Обнаружен. Не взят. Не вынут из стены. Обнаружен.

Затем саркофаг Нектанеба II, последнего фараона Египта из коренных египтян, правившего с 360 по 342 год до нашей эры. Зелёная брекчия была холодной. Жолуа положил руку внутрь во время своего первого посещения, туда, где покоилось бы тело. Дно было отполированным, ровным, нежным на ощупь, как металл. Его правление было прервано вторым персидским нашествием. Неизвестно было ни где он умер, ни было ли возвращено его тело. Этот саркофаг, вероятно, приготовили до его бегства, и он никогда не служил. Найден в Александрии во дворе мечети Аттарин, где использовался как бассейн для омовений.

Декор на стенках воспроизводил разделы Амдуата, ночного путешествия солнца через двенадцать часов преисподней. Жолуа копировал эти самые сцены в Долине царей. Он узнал их с первого взгляда. Те же боги, то же путешествие, высеченные для царя, у которого так и не нашлось времени умереть в этом саркофаге.

Кларк осмотрел его. Он спросил о весе.

— Несколько тонн. Более трёх метров в длину, — сказал Жомар.

— А историческое значение?

— Гробница последнего коренного фараона Египта, — сказал Жолуа. — Она никогда не служила.

Кларк записал в реестр без комментариев.

Была там и статуя верховного жреца Амона из серого гранита, в натуральную величину, со сложенными перед собой руками, в вечной позе божественного слуги, той, что Жолуа видел воспроизведённой десятки раз в храмах Верхнего Египта. Колоссальный кулак из гранита, фрагмент царской статуи, остальная часть которой так и не была найдена. Жомар прикинул, что полная статуя должна была достигать двенадцати-пятнадцати метров. Один кулак доходил до плеча стоящего человека.

Затем стелы, памятные надписи из известняка и базальта с царскими картушами и иероглифическими текстами. В тот день Кларк ограничился тем, что пересчитал их. Изучение надписей последует позже. Общий вес был значительным.

— Эти предметы, — заявил Гамильтон, — будут храниться в Британском музее и станут доступны учёным всего мира. Ваш научный вклад будет признан. На табличках будет указано «Обнаружено французской экспедицией, передано британским силам при капитуляции Александрии».

Утро 4 сентября решило вопрос о крупных древностях. Саркофаг Нектанеба II, статуя верховного жреца Амона, стелы были внесены в реестр, и Розеттский камень вскоре должен был к ним присоединиться. Оставалось всё прочее. Жолуа был измотан прошедшими неделями. Он не собирался отступать.

— Я готов обсуждать всё. Но предупреждаю вас, что не приму ни одного изъятия без предварительного обсуждения каждой категории предметов. У нас есть время. Капитуляция даёт нам недели до эвакуации.

Гамильтон, молча следивший за обменом репликами, вмешался. Он предпочитал переговоры грубой конфронтации. Кларк будет проводить осмотр, он сам рассудит спорные пункты. Обе стороны изложили свои исходные позиции, определили пункты согласия и пункты разногласий и условились о рабочем графике, который Криппс переписал набело.

В тот же вечер стало известно, где находится камень. Один офицер, член Института, провёл Кларка, Криппса и Гамильтона по переулкам за резиденцией Мену. Камень лежал там, под коврами, среди багажа генерала. Хатчинсона тотчас известили. Всё решилось за один день.

Вечером 4 сентября французские учёные собрались в комнате, примыкавшей к складу. Помещение с низким потолком, обставленное столом и несколькими разномастными стульями. Снаружи слышно было британских солдат, стоявших на карауле. Ровное лязганье оружия о портупеи.

Фурье задал вопрос, который никто не хотел произносить.

— Крупные древности для нас потеряны. Розеттский камень, саркофаги, статуи… Надо защищать то, что ещё можно защитить.

Жолуа посмотрел на него, не отвечая. Марсель не стал ждать.

— Мои оттиски. Это не подлежит обсуждению. Двадцать пять полных оттисков Розеттского камня.

— Естественнонаучные коллекции тоже, — сказал Жоффруа. — Змеи, пойманные в пустыне, насекомые, собранные при сорока градусах жары, — я рисковал жизнью ради каждого образца. Если понадобится, я лягу перед ящиками.

Фурье вздохнул. Он предвидел, что каждый будет отстаивать собственные ящики.

— Господа, — сказал он, взвешивая слова, — будем… реалистами. Большие предметы ушли. У Гамильтона есть право и сила. У нас есть терпение и немного хитрости. Предлагаю сосредоточить усилия на том, что ещё защитимо, — на незаменимом с интеллектуальной точки зрения. Рисунки. Заметки. Рукописи.

Жолуа встал.

— Нет.

Он стоял, положив ладони плашмя на стол.

— Нет, — повторил он. — Мы будем защищать всё. Каждый предмет, каждый рисунок, каждый образец. Кларку придётся обосновывать каждое изъятие, доказывать каждый захват. Мы утопим его в деталях, категориях, юридических исключениях. Он хочет всё? Предмет за предметом.

Жомар кивнул.

— Жолуа прав. Уступить сразу — значит принять сам принцип изъятия, а потом Кларк придёт за остальным. Держаться по всем пунктам. Уступать лишь тогда, когда сопротивляться больше нельзя.

Жоффруа пристально посмотрел на него.

— И что это конкретно значит? Мы позволим Кларку взять то, что осталось, не сражаясь?

— Напротив, — сказал Жолуа. — Мы бьёмся за всё и теряем то, что должны потерять. Но каждая уступка обойдётся дорого. Гамильтон запомнит, что мы ничего не отдали даром.

Фурье смотрел на Жолуа, держа карандаш неподвижно над листом. Они проиграют. По крайней мере, каждая пядь земли будет защищена.

— Согласен, — сказал Фурье. — Защищаем всё. Но действуем согласованно. Никто не ведёт переговоры в одиночку, в своём углу. Каждый довод проходит через этот стол, прежде чем попасть к Гамильтону.

Остальные присоединились к этому мнению. Марсель заговорил, тише.

— А если мы потеряем всё? Если Гамильтон изымет даже оттиски?

Жолуа снова сел. Он вновь обрёл спокойствие.

— Мы не потеряем всё. Гамильтон не грабитель. Он дипломат. У него есть инструкции… и известное чувство справедливости. Он уступит в том, что юридически защитимо. Нужно лишь, чтобы наши доводы были неоспоримы.

Никто ничего не добавил. Снаружи под окном прошла смена караула.

II – Спасённые коллекции

Личные научные инструменты учёных — астрономические телескопы, теодолиты, барометры, термометры, точные весы, микроскопы — были без затруднений признаны личной собственностью, не подлежащей изъятию. Гамильтон признал, что эти профессиональные орудия не имеют никакого отношения к древнему Египту. Всё

остальное британцы собирались обсуждать до мельчайших подробностей.

9 сентября Кларк осмотрел естественнонаучные коллекции Жоффруа Сент-Илера.

— Господин Жоффруа Сент-Илер, — сказал Кларк, — я получил приказ осмотреть ваши образцы. Прошу вас обеспечить мне доступ к вашим ящикам.

Жоффруа отреагировал иначе, чем Жолуа и Фурье.

— Вы не тронете эти коллекции, — крикнул он, встав между солдатами и своими ящиками. — Если вы сделаете хоть шаг, я сожгу всё.

— Вы собирали их как официальный член Комиссии, — сказал Кларк. — Следовательно, они французская общественная собственность, а значит, британская военная добыча. Такова логическая цепочка. Я её не выдумывал.

Жоффруа Сент-Илер не желал этого слушать.

— Вы хотите украсть мой труд, чтобы обогатить ваши музеи. Не приложив сами ни малейшего усилия к открытию, ни единого. Называйте это как хотите. А я называю это кражей.

— Я вам не верю, — сказал Кларк. — Вы не уничтожите три года работы.

Жоффруа пересёк комнату, открыл один из ящиков с высушенными образцами, достал огниво с трутом, дважды ударил и зажёг трут. Пламя было в десяти сантиметрах от сухой соломы.

— Я не блефую. Ещё шаг, и я подожгу. История запомнит, что вы тоже сожгли библиотеку в Александрии.

Кларк посмотрел на пламя. Натуралисту было двадцать девять лет, и рука его была тверда. Лучше позволить Жоффруа уйти с его банками, чем вернуться в Лондон с пеплом. Он отступил на шаг.

— Ваша страсть вызывает у меня уважение, — сказал Кларк, отступая. — Хотя ваши методы театральны. Всеобщая наука выиграет, если эти коллекции уцелеют во Франции. Я буду ходатайствовать за них перед генералом Хатчинсоном.

— Хорошо защитились, — сказал Жолуа Жоффруа Сент-Илеру в тот же вечер. — С крупными древностями надо было поступить, как вы. Возможно.

— Крупные древности были видны слишком издалека. Мои рыбы в банках никогда не волновали воображение британских офицеров. Иногда быть непонятым — преимущество.

Эта история сказалась и на остальных переговорах. Учёные увидели, что твёрдое сопротивление может принести плоды, при условии, что выбираешь свои битвы.

Жолуа, ободрённый этим примером, сильнее нажал в вопросе о публикации рисунков Комиссии. Письмо Бонапарта прибыло в Александрию 10 сентября, через восемь дней после подписания капитуляции. Написанное в Париже весной, оно месяцами странствовало дипломатической почтой через османских посредников. Фурье получил его ближе к полудню, пока Кларк осматривал надписи на стелах.

Оно было коротким. Бонапарт писал как Первый консул, а не как генерал, и вместе с титулом изменился тон. Он приветствовал труд Комиссии, выражал уверенность в её способности защитить коллекции от британских притязаний, обещал, что её труды будут опубликованы при полной поддержке консульского правительства, и добавлял в последней строке, что Париж ждёт их возвращения.

Париж ждал их возвращения. Фурье прочёл фразу трижды. Бонапарт не знал, чего стоит читать «Париж ждёт», глядя на Розеттский камень под британской охраной. Ни жестокости, ни равнодушия — просто Париж, уже видевший

продолжение. Бонапарт не писал «мне жаль коллекции, которые вы теряете» или «я поступил бы иначе». Он писал «Париж ждёт». Словно всё, что произошло здесь, — три года, погибшие, Розеттский камень, который Кларк только что внёс в свой реестр, — было всего лишь прелюдией к чему-то, что начнётся там.

Фурье сложил письмо и спрятал его в папку с эстампажами Марселя. Оно поедет вместе с эстампажами. Он не знал наверняка, что сделает с ним в Париже. Вероятно, ничего. На письмо Первого консула не отвечают затем, чтобы сообщить, что его формулировка показалась легковесной.

Он вернулся к переговорам. Кларк закончил со стелами. Жолуа потребовал свободы публиковать рисунки Комиссии во Франции без ограничений, что равнялось просьбе к Гамильтону отказаться от любого британского контроля над распространением изображений египетских древностей.

Гамильтон колебался. Уступка была велика, но отказать Комиссии в праве публиковать собственные рисунки было бы юридически и морально несостоятельно. Он согласился, поставив единственным условием, чтобы копия каждой опубликованной таблицы отправлялась в Британский музей для его архивов.

— Копия каждой таблицы, — сказал Жолуа. — Пусть так. Нам в любом случае придётся печатать много экземпляров для продажи.

Это соглашение гарантировало издание *«Описания»* и открыло также путь к *«Путешествию по Нижнему и Верхнему Египту»*, которое Денон, вернувшийся во Францию ещё в 1799 году, выпустит в 1802-м, раньше, чем будет готово *«Описание»*, и которое станет первым крупным издательским успехом среди книг о древнем Египте.

Гербарии вызвали спор, менее шумный, чем спор о естественнонаучных коллекциях, но показательный для того,

что стояло на кону в переговорах. Ботаники Комиссии собрали гербарии из нескольких тысяч образцов египетской флоры. Растения пустыни, растения Нила, культурные виды из каирских садов.

Кларк захотел изъять половину. Ботаники возразили, что эти гербарии образуют цельные серии и что их разделение значительно снизит их научную ценность, поскольку разрезанный надвое гербарий уже не позволяет проводить сравнительные исследования.

Гамильтон поддержал Кларка. Учёным оставалось лишь согласиться.

Затем Кларк перешёл к самой двусмысленной категории — мелким древностям, которые, по утверждению французских учёных, были приобретены ими на собственные деньги у феллахов или торговцев древностями, а не обнаружены официально Комиссией.

Их были сотни. Погребальные статуэтки из расписного дерева и глазурованного фаянса, амулеты из полудрагоценного камня, резные скарабеи, фрагменты папирусов, небольшие бронзовые статуи, керамика, украшения, древние орудия, обрывки тканей. Французы доказывали, что это личные покупки, сделанные на местном рынке, а не официальные находки.

Кларк отнёсся к этому скептически.

— Доказать, что каждый предмет был куплен, а не найден, будет невозможно, — сказал он. — Сомневаюсь, что вы сохранили квитанции с базара.

Фурье признал, что это затруднительно.

— Наши записи… не всегда велись строго, нет. Разбирать предмет за предметом заняло бы недели. Я предлагаю компромисс. Одну половину, отобранную нами, мы оставляем себе. Другую — Британскому музею.

Гамильтон согласился.

— Разумно. И быстрее. Так и поступим.

Следующие дни учёные провели, отбирая предметы, которые оставят себе, отдавая предпочтение документальной ценности и историческому значению, а не блеску. Они сохранили, в частности, несколько папирусов с иероглифическими и демотическими текстами, полные серии погребальных статуэток из одной гробницы, коллекции скарабеев с картушами различных фараонов.

Гамильтон со своей стороны отобрал самые эффектные предметы, которые произведут впечатление на публику Британского музея. Бронзовые статуи египетских божеств, украшения из золота и серебра, амулеты тонкой работы из лазурита и сердолика, расписную керамику высокого качества.

Этот раздел лишил Францию многих ценных предметов, но спас их существенную часть, которая впоследствии обогатит Египетский музей Лувра, открытый в 1827 году.

Особая проблема возникла с мумиями. Гамильтон утверждал, что они, очевидно, являются египетскими древностями, подлежащими изъятию. Французы возразили, что мумии обладают скорее анатомической ценностью, чем музейной, и что они лучше послужат науке, если останутся у французских естествоиспытателей, которые смогут их изучать.

Гамильтон, поразмыслив, согласился на договорённость. Французы сохранят нескольких мумифицированных животных и одну человеческую мумию посредственного качества для своих исследований, британцы возьмут лучше всего сохранившиеся царские или знатные мумии для экспозиции.

— Меня это устраивает, — сказал Гамильтон. — У нас есть решение для каждой категории.

Фурье ответил с сухой учтивостью.

— Решение… Мы были конструктивны, господин Гамильтон, потому что сила была на вашей стороне. Я прошу лишь позволить занести в архивы Комиссии, что мы считаем это изъятие несправедливым ограблением. Три года работы. И страданий.

Гамильтон ничего не возразил. Он не стремился стереть обиду французов, а лишь исполнить свои инструкции без ненужного ущерба. Этот протест он уже слышал и знал, что его передадут в Париж, занесут в мемуары, а может быть, когда-нибудь и опубликуют.

Следующие дни были посвящены практической описи мелких древностей. Каждый предмет заносился сразу в два списка — один вёл британский секретарь, другой Марсель, — и вечером, при лампе, оба списка сверяли строка за строкой, чтобы убедиться, что ничего не пропущено и не перемещено без обоюдного согласия. Утомительно. Зато потом не возникло ни одного спора.

Эстампажи иероглифических надписей оказались более спорными. Гамильтон утверждал, что они воспроизводят египетские надписи и потому подпадают под «прочие коллекции», упомянутые в статье шестнадцатой.

Марсель, подготовивший свою защиту, оспорил это расширительное толкование.

— Эти эстампажи — бумага и тушь, — сказал он. — Не древности для выставки. Рабочие документы для филологов. Британский музей не знает, что с ними делать. Оставьте их нам.

Гамильтон какое-то время размышлял, прежде чем ответить.

— Ваши заметки — это ваши заметки. Не это я здесь ищу.

Он резким движением положил перо.

— Оставьте их себе. У нас есть оригинал.

Эстампажи останутся у французов. Марсель предвидел это с первого дня.

Комиссия спасла главное, и главное не умещалось в больших ящиках. Оно умещалось в медных тубусах и кожаных папках. В трюмах корабля оно будет весить мало. В грядущие десятилетия оно будет весить куда больше.

Вопрос о рукописях и научных заметках был решён ещё более благоприятно. Гамильтон без труда признал, что эти документы являются личными интеллектуальными трудами, отличными от материальных древностей, и потому не подлежат изъятию как военная добыча.

15 сентября Гамильтон попросил осмотреть все рисунки, выполненные Жолуа и его коллегами-художниками за время экспедиции. Жолуа предъявил свои блокноты.

— Господин Гамильтон. Статуя фараона существовала и без меня. Эти рисунки — нет. Их не существовало, пока я их не нарисовал. Конфисковать личное произведение — это не реквизиция. Это кража.

Гамильтон долго рассматривал рисунки.

— Ваши рисунки — ваше творчество, а не древности. Сохраните их. Я попрошу лишь около пятидесяти копий для Британского музея. Оригиналы остаются у вас.

Жолуа сам выбрал копии, которые надлежало передать. Потом ещё какое-то время оставался так, положив руку на свои блокноты.

Вопрос о древних монетах едва не возобновил конфликт, который считали разрешённым. Учёные Комиссии совместно владели несколькими сотнями греческих, птолемеевских и римских монет, собранных на памятниках Дельты и долины Нила. Гамильтон потребовал их как подлежащие изъятию древности. Учёные возразили, что это личные приобретения, сделанные для их собственных нумизматических собраний.

— Каждая монета куплена кем-то из учёных, — сказал Марсель, доставая записную книжку, в которую с предусмотрительностью, которой никто от него не требовал, занёс каждую покупку с ценой, датой и именем продавца. — Вот записи.

Гамильтон внимательно изучил книжку. Этот реестр явно вёлся ещё до переговоров и ничем не был обязан документу, сфабрикованному ради дела. Он принял довод и оставил монеты учёным, за исключением примерно пятнадцати примечательных экземпляров, которые Марсель согласился уступить ему в обмен на дополнительные возможности для перевозки самых громоздких ящиков.

Так действовал Гамильтон — твёрд в основных положениях своих инструкций, гибок в деталях.

Жолуа, узнав об этом, был ему благодарен, не показывая этого. В начале переговоров он опасался встретить конфискатора.

— Я предпочитаю пропустить несколько предметов, чем создать прецедент произвола, — сказал Гамильтон. — Если французы заподозрят нас в конфискации вне всяких правил, мы потеряем их сотрудничество в дальнейшем.

III – Этика грабежей

Утром 17 сентября Жолуа один вышел побродить по Александрии. Ему не нужно было ничего особенного рисовать. Ему хотелось пройтись. Переговоры длились уже четырнадцать дней. Протокол будет подписан через несколько дней. После этого защищать будет нечего.

Он прошёл квартал торговцев, не останавливаясь. Город продолжал жить, и это поражало его больше всего, — словно ничего не случилось. Женщины у колодцев. Мулы в узких переулках. Запах горячего хлеба и жасмина.

Он остановился перед лавкой переплётчика. Тот работал прямо на пороге, сшивая тетради с неторопливой тщательностью человека, чья рука знает это движение с детства. Он поднял глаза на Жолуа, затем опустил их обратно на работу без особого любопытства. Ещё один француз. За три года он видел их немало. Увидит и других. Османов, англичан, мамелюков. Игла снова вошла в тетрадь.

Жолуа смотрел, как он работает. Истёртые инструменты, механические движения, верстак, отполированный годами трения. Запах клея, разогревавшегося в горшке, плыл по улице. Мягкий, чуть едкий.

Жолуа не заговорил с ним. Без переводчика он так и стоял, глядя на его работу, а потом пошёл дальше, к порту. Британские корабли были там, на рейде, в ожидании. На набережных громоздились ящики. Большие древности отплывут через несколько дней. Сам он отплывёт вскоре после этого на одном из этих кораблей. В сумках — его блокноты. В английских ящиках — Розеттский камень и саркофаг Нектанеба II.

Он подумал о переплётчике. Переплётчик делал блокноты. А он их заполнял. Блокноты уедут в Париж, ящики — в Лондон. Через сто лет — через двести лет — кто-нибудь откроет эти блокноты и увидит Египет таким, каким он был в 1801 году. Колонны храмов и царские гипогеи, но не переплётчика и не улицу. Именно это Жолуа и решил рисовать. То, что он оставил в стороне — повседневный город, обычных людей, работу рук, — нигде не останется.

Он нарисовал порт, набережные, корабли на рейде. Потом, в уголке страницы, по памяти, руки переплётчика над тетрадью. Он и сам толком не знал, почему. Эти руки никуда не уедут. Они останутся здесь, на этой улице, делать блокноты.

Он рассмотрел рисунок. Руки, быстрые, уверенные, с мозолями в нужных местах. Руки, которые никогда не

покидали эту улицу. Которым не нужно было её покидать. Движение, усвоенное так рано, что стало самим телом. Он подумал о своих собственных руках, испачканных чернилами. Об Абдалле ибн Юсуфе, знавшем канал иначе, чем по измерениям. О коптском мастере, чьи руки знали бумагу.

В тот вечер Гамильтон прислал им записку. Он просил позволения прийти к ним на ужин на следующий день, без секретаря. Жолуа показал записку Фурье.

— Он придёт один, — сказал Фурье, не поднимая глаз от записки. — Без секретаря.

— Значит, как человек, — сказал Жолуа. — Не как комиссар.

Фурье отложил записку, перевернул её, поискал на ней дату, которой там не было. Прийти к противнику без секретаря и без протокола значило хотеть сказать то, чего не будет ни в одном рапорте. Он примет приглашение от имени всех.

Вечером 18 сентября Гамильтон явился к французам, как было условлено. Он был один.

Стол был дверью, положенной на козлы. Хлеб, козий сыр, бутылка местного вина, которое никто не стал оценивать. Фурье был там, Жоффруа, Марсель. Снаружи солдаты грузили ящики на повозки. Слышно было, как дерево трётся о дерево.

Какое-то время они ели молча. Это Гамильтон попросил прийти. Они ждали, чтобы узнать, зачем.

— Саркофаг Нектанеба II, — сказал он наконец. — Тот, что вы изучали здесь, в Александрии. Завтра он отправляется в порт. Я хотел сказать вам об этом в лицо.

Жолуа медленно поставил стакан. Саркофаг Нектанеба был из зелёной брекчии, длиной более трёх метров, покрытый надписями из Амдуата. Он потратил целый день на его

зарисовку. Он помнил свет на брекчии. Не блик, а поглощение, словно камень удерживал свет для себя. Иероглифы были вырезаны с точностью, которая и спустя двадцать веков позволяла различить перья птиц и сочленения змей.

— Этот саркофаг, — сказал Фурье, — был в Александрии до нас. Арабы использовали его как бассейн для омовений. Мы достали его оттуда. Мы его изучили.

— Знаю. Мы тоже нашли упоминание о нём в описании путешествия Покока. Это одна из причин, по которым я хотел вам это сказать. Вы не первые, кто его перемещал.

Снаружи один ящик стукнулся о другой. Кто-то выругался по-английски.

— Что меня задевает… — сказал Жолуа. — Не то, что вы его забираете. Через сто лет египтянину придётся ехать в Лондон, чтобы увидеть саркофаг одного из своих фараонов.

Гамильтон смотрел в свой стакан. Фурье наблюдал за Гамильтоном, который смотрел в свой стакан.

— Если через сто лет найдётся египтянин, который захочет увидеть этот саркофаг, — сказал Гамильтон, — значит, кто-то объяснил ему, что это такое. И этот человек, вероятно, работал по вашим рисункам и вашим обмерам. Не по камню.

— Это оправдание.

— Да. Как и все те, что мы даём себе здесь.

Какое-то время никто не ел. Марсель наполнял свой стакан с той точностью, которую вкладывал во всё, что делал.

— Этот саркофаг, — сказал Марсель, не поднимая головы, — сменил владельца ещё до арабов. Он так и не принял тела Нектанеба и оказался в Александрии. Из него сделали бассейн. Арабы позднее установили его для омовений во дворе мечети Аттарин. Мы его измерили и зарисовали. Вы

собираетесь выставить его. У каждой эпохи свой способ присваивать Египет.

— А у самого Египта права голоса нет.

Жоффруа смотрел в потолок.

— Не Египет нас приглашал.

Разговор только что коснулся того, чего Гамильтон не предвидел. Он подумал о своих инструкциях. Изымать древности, соблюдать справедливость. В его инструкциях о египтянах не говорилось. Никто не подумал включить их туда. Он не ответил Жоффруа.

— Если Египет когда-нибудь сложится в нацию, — продолжил Фурье, — и потребует вернуть своё достояние, что ответит Британский музей?

— Отвечать буду не я. Кто-то другой, при других обстоятельствах. Я не могу связывать следующий век.

Фурье отметил эту фразу. Она была честной и недостаточной, но это было всё, что мог сказать в тот вечер человек в положении Гамильтона.

Через несколько лет, в своих заметках к предисловию к *«Описанию»*, он вновь наткнётся на эту фразу. Он не вставит её туда. Она была слишком личной, слишком связанной с вечером, у которого не было официального свидетеля. Но он будет думать о Гамильтоне, когда будет писать его.

Гамильтон поднялся первым. Он поблагодарил за ужин. У двери он остановился.

— Если кто-нибудь из французских учёных захочет осмотреть саркофаг в Лондоне, я помогу получить доступ.

Жолуа смотрел ему вслед. Снаружи солдаты продолжали грузить. Александрийская ночь входила в окно. Голоса по-арабски, собака, запах порта.

— Он согласился с нами во всём, что мы ему сказали, — сказал Марсель. — И всё равно взял саркофаг.

На следующее утро, когда Жолуа пересекал двор, саркофага Нектанеба там уже не было. Вместо него — прямоугольный след на песке.

22 сентября, рано утром, египетский торговец явился к воротам склада и попросил разговора с Гамильтоном.

Его звали Махмуд аль-Тавиль. Он держал лавку древностей в коптском квартале Александрии, через две улицы от порта. Его пятнадцатилетний сын сопровождал его и должен был служить переводчиком. Жолуа, проходивший по двору как раз в тот момент, когда они пришли, остановился.

Гамильтон принял их в комнате, служившей ему кабинетом. Стол, четыре стула, стопки протоколов, которые секретарь раскладывал последние две недели. Махмуд аль-Тавиль положил на стол сложенный листок бумаги и стал ждать, пока сын переведёт.

Он утверждал, что несколько статуэток, числящихся в партии британских мелких древностей, были украдены у него французскими солдатами в 1798 году. Он требовал их возвращения.

— Он говорит, что его отец приобрёл эти вещи у своего собственного отца, — перевёл сын. — Они были в семье три поколения. Солдаты забрали их из лавки в первую неделю оккупации. У него есть свидетели.

Гамильтон выслушал. Он взглянул на сложенный листок. Список из восьми предметов, описанных по-арабски, с пометками в пиастрах — ценами, уплаченными при приобретениях отцом. Он попросил показать свидетелей. Сын вышел и вернулся с двумя мужчинами из того же квартала, которые подтвердили, что Махмуд аль-Тавиль действительно владел этими предметами до прихода французов.

Жолуа подошёл к двери. Он узнал описание одной из статуэток — бронзовая фигурка стоящего Осириса со скрещёнными руками, высотой около двадцати сантиметров. Он её рисовал. Не у этого человека, а в открытом ящике на биваке, в 1798 году, в первые дни. Он не спросил, откуда она.

— Я не могу вернуть вам эти предметы, — сказал Гамильтон. — Они входят в официальное изъятие, подтверждённое капитуляцией. Процедура индивидуальной реституции в таком контексте юридически безнадёжно запутана.

Сын перевёл. Махмуд аль-Тавиль выслушал, не изменившись в лице. Он задал короткий вопрос.

— Он спрашивает, кому принадлежат эти предметы теперь. Англичанам или французам?

— Англичанам. Они в ящиках британского изъятия.

Новый короткий вопрос.

— Тогда он спрашивает, почему англичане не могут их вернуть, если они у них.

Гамильтон не спеша подбирал ответ. В этом не было никакой недобросовестности. Система просто не была рассчитана на такого рода вопросы.

— Потому что эти предметы отныне составляют часть государственного изъятия, регулируемого международным договором. Индивидуальные права, даже законные, не могут рассматриваться в этих рамках. Это означало бы открыть процедуру, которой нет конца.

Сын перевёл. Махмуд аль-Тавиль выслушал, один раз кивнул и сказал что-то.

— Он говорит, что понимает. И говорит — всё равно запишите моё имя.

Гамильтон записал. Он вписал имя, адрес, описание восьми предметов, имена двух свидетелей. Он подписал страницу и вручил копию Махмуду аль-Тавилю.

Торговец взял бумагу, аккуратно сложил её и спрятал в складках одежды. Он поблагодарил без теплоты и вышел с сыном. Во дворе он на миг остановился и посмотрел на ящики, сложенные у стены. Потом зашагал обратно в город, сын — на шаг позади.

Жолуа остался в дверном проёме. Он думал о бронзовой фигурке Осириса. О странице своего блокнота, где он её нарисовал. Фигурка уедет в Лондон. Рисунок уедет в Париж. Имя Махмуда аль-Тавиля останется в британском реестре, который, вероятно, никто никогда не найдёт. Всё это было записано. Ничто из этого не будет возвращено.

Лишённые имущества владельцы, законные притязания — и ни Франция, ни Англия не были в состоянии рассмотреть их по справедливости.

Вечером 22 сентября итоговый протокол был подписан во дворе склада.

Во дворе поставили стол, на том же месте, что и в предыдущие недели, под тем же холщовым навесом, который сентябрьское солнце выбелило снизу. Секретарь Гамильтона разложил рядом два экземпляра документа — один на французском, другой на английском, каждый с пронумерованными приложениями. По двадцать две страницы в каждом. Секретарь выровнял перья, чернильницы, положил печать для сургуча. Он делал это с педантичной тщательностью людей, которые знают, что их работа будет отправлена в архив.

Гамильтон прибыл первым, с двумя офицерами в качестве свидетелей. Фурье представлял французов вместе с Жолуа. Жомар тоже был здесь, поодаль, без официальной роли, но ему захотелось увидеть всё своими глазами.

Первым подписал Гамильтон. Этого требовал протокол. Сторона, навязавшая свои условия, подписывала раньше.

Он сделал это без колебаний, жестом человека, которому уже случалось подписывать многое во многих странах.

Фурье взял перо. Он подержал его мгновение, не касаясь бумаги. Решение было принято давно, иной возможности не существовало. Оставалось лишь то время, которое требуется руке, чтобы согласиться с тем, с чем разум уже согласился. Он подписал. Чернила быстро высохли в вечернем зное.

Затем подписал Жолуа. Секретарь скрепил оба экземпляра сургучными печатями обеих сторон — красной у британцев, синей у французов. Каждая печать с глухим звуком оставляла чёткий оттиск в мягком сургуче.

Жомар машинально сосчитал приложения — всего сорок четыре страницы. В этих листах — перечень крупных древностей, захваченных британцами, перечень научных коллекций, признанных за французами, статьи о взаимном доступе, гарантии перевозки. Ничто на этих страницах не говорило ни о том, сколько весит саркофаг Нектанеба, ни о том, сколько длился тот день, когда Жолуа его зарисовывал.

Оба экземпляра были вручены сторонам. Гамильтон убрал свой в сумку, больше на него не взглянув. Фурье некоторое время держал свой в руках, словно прикидывая его вес. Лондон с одной стороны, Париж с другой. То, что по-прежнему оставалось там, в этих переулках, на рынках и на раскопках, не принадлежало никому по эту сторону стола.

Несколько секунд никто ничего не говорил. Потом один из британских офицеров кашлянул, и все разом зашевелились.

Гамильтон сделал последнее замечание, формулировка которого показалась Жолуа точной.

— То, что мы здесь сделали, рассудят будущие поколения. Не обязательно в нашу пользу. По крайней мере, мы попытались… соблюсти известную справедливость.

Жолуа не ответил, слишком утомлённый для философии. Но в тот же вечер он записал эту фразу в свой блокнот, с

датой и обстоятельствами. Ни в одном изданном труде её не будет.

IV – Прощания

Когда раздел коллекций был окончательно решён, французские учёные и британские комиссары провели последние дни сентября, упаковывая то, что каждый из них увозил с собой.

Что касается британцев, то крупные древности были внесены в реестр ещё с 4 сентября. Людям Кларка оставалось только заколотить их в ящики и проверить ремни и пломбы. Во дворе склада ящики, остальные саркофаги, статуи на тележках ждали погрузки. Никто больше не вскрывал их.

Жолуа молча наблюдал за этими приготовлениями, с горечью и покорностью. Эти предметы уйдут в Лондон. Он никогда больше их не увидит. У него оставались его рисунки, которые сохранят память о памятниках, потерянных для Франции.

24 сентября Гамильтон пришёл поблагодарить Жолуа и Фурье за их относительное сотрудничество в ходе переговоров.

Французские учёные, со своей стороны, упаковали коллекции, которые им удалось спасти.

Описи составлялись предмет за предметом, рукопись за рукописью, рисунок за рисунком — каждый на то, что увозил сам.

25 сентября под совместным наблюдением британского офицера и Фурье состоялся предварительный осмотр. Каждый ящик вскрывали, содержимое сверяли с описью, затем закрывали снова.

К вечеру 26 сентября упаковка была завершена. Французские учёные были готовы отплыть во Францию. Они ждали только британских кораблей.

В последние часы этого дня Жолуа собрал помощников для окончательной проверки. Он велел распаковать и заново осмотреть каждый металлический тубус с рисунками, проверил, герметичны ли пробки, искал малейшую трещину. То же он проделал со связками бумаг, картонными папками с заметками, портфелями с эстампажами. Всё, что Комиссия привезёт во Францию, умещалось в нескольких ящиках и нескольких медных рулонах.

— Ничего не забыли?

— Ничего существенного, по-моему. Измерительные приборы в ящике номер три. Тетради архитектурных обмеров в ящике номер четыре. Ваши рисунки в тубусах с первого по двадцать третий. Эстампажи Марселя в портфелях. Журналы Института в ящике номер пять.

Жолуа посмотрел на тубусы. Внутри, свёрнутые и переложенные хлопковой бумагой, лежали листы, изображавшие весь древний Египет, который прошла армия, сведённый к линиям и штриховке на плотной бумаге. Эта бумага теперь была ценнее самих памятников, ибо гравюра сможет тиражировать её сколько угодно раз, а время и расстояния она преодолеет лучше любого камня. Медь была холодной под его ладонью.

В ночь с 26 на 27 сентября Жолуа сидел в своей комнате, поставив тубусы в ряд у стены слева от себя, и составлял указатель к своим рисункам — алфавитный и тематический перечень всех зарисованных памятников, распределённых по местам, эпохам, архитектурным типам.

Этот указатель, который он закончил около четырёх часов утра, должен был стать первым оглавлением того, что превратится в *«Описание Египта»*. В нём значились две

тысячи восемьдесят семь рисунков, охватывающих сто восемьдесят шесть различных мест, от острова Филе на юге до Александрии на севере. Для каждого рисунка он отмечал, был ли это общий вид, архитектурная деталь, надпись или фигурное изображение.

На рассвете он свернул указатель, вложил его в тубус номер один вместе с самыми драгоценными своими тетрадями и ладонью вдавил пробку.

Ящики были окончательно опечатаны 27 сентября в десять часов утра в присутствии британского офицера, двух французских свидетелей и военного нотариуса, наспех назначенного по такому случаю. Этим ящикам предстояло пересечь Средиземное море и пополнить национальные коллекции. После всего, что произошло, это была частичная победа. Нотариус подул на сургуч.

Жомар пообещал себе описать эту сцену в своих мемуарах — ради того, что она завершала. В двадцать три года он оставлял позади период своей жизни, не похожий ни на какой другой.

Жолуа же не думал о будущем. Он думал о южных местах, которые лишь мельком успел увидеть. Обо всём, что он не успел зарисовать.

29 сентября учёные узнали, что британские корабли, которые должны были доставить их домой, не смогут принять пассажиров раньше чем через месяц с лишним. Пришлось ждать.

Утром 31 октября французские учёные получили официальный приказ быть готовыми к посадке на следующий день на британские транспортные суда, которые доставят их во Францию через Мальту.

Перед посадкой Гамильтон нанёс французским учёным последний визит. Он принёс пропуска, подписанные и скреплённые печатью, которые позволят провезти их ящики

через британские портовые досмотры. Никто не сможет конфисковать их имущество в последнюю минуту.

— Вот ваши охранные грамоты. Желаю вам доброго пути домой.

Он протянул пачку бумаг Жолуа, и тот взял её.

— А я желаю вам хорошо распорядиться тем, что вы увозите.

Гамильтон коротко улыбнулся. Он понял. Хорошо распорядиться тем, что они увозили, означало опубликовать листы, открыть их учёным всех стран, извлечь из них знание, которое не останется запертым в Париже. Это было бы единственным оправданием, которое он когда-либо сможет дать тому, что сделал здесь.

— Мы сделаем всё, что в наших силах.

На этом всё закончилось. Больше они никогда не виделись.

В последний вечер учёные собрались вместе, без Гамильтона и британских офицеров. Они ели мало и говорили долго. У каждого были свои сожаления — непосещённое место, нескопированная надпись, храм, который удалось бы обмерить, будь у них ещё один год. Никто не сказал вслух, что такое больше не повторится, но думали об этом все.

В ночь с тридцать первого октября на первое ноября, лёжа на соломенном тюфяке на складе, Жолуа слушал шум моря и крики чаек. Минувшие три года возвращались к нему вразнобой, уже далёкие, словно прожитые человеком более молодым. Высадка в Александрии, переход через пустыню, первый вид пирамид, восстание в Каире, храмы Верхнего Египта, Розеттский камень, смерть Клебера, переговоры с Гамильтоном.

Он встал на рассвете, пошёл в последний раз проверить тубусы и вышел на набережную. Море было спокойным под ещё тёмным небом. Несколько звёзд оставалось на западе. На кораблях на рейде горели фонари. Через несколько

часов он будет на борту. Через несколько недель — в Париже.

Утром 1 ноября каждый прощался по-своему. Жолуа нанёс последний визит одному александрийскому шейху, получившему образование в аль-Азхаре, с которым он не раз беседовал о памятниках фараонов. Старый книжник, читавший по-арабски, по-персидски и по-турецки, но не по-французски, долго рассматривал рисунки, которые показывал ему Жолуа.

— Он говорит, что фараоны были великанами, — перевёл толмач. — Великанами, которые строили для вечности, потому что верили, что будут жить в ней.

— Возможно, он не так уж неправ. Эти памятники пережили все империи, владевшие этой землёй. Переживут, вероятно, и наши.

Шейх сказал ещё что-то. Толмач помедлил, прежде чем перевести.

— Он говорит, что вы смотрели на эти камни так, словно у них есть душа. Это хорошо. Эта разница важна, даже если вы уезжаете.

Жолуа записал эту фразу в тетрадь, вслед за словами *вакиля* Абдаллы. Два человека, не знавшие друг друга, с промежутком в год, — и ни один из них не счёл пустяком этот взгляд, обращённый на их страну.

Посадка состоялась ближе к полудню. Британские корабли встали на якорь в нескольких сотнях метров от набережной, и шлюпки курсировали туда и обратно. Ящики французов грузили первыми. Гамильтон согласился на это, зная тревогу учёных.

Это были британские транспорты и военные корабли. На рейде стояла также *«Эжипсьенн»* — бывший французский фрегат, захваченный в александрийском порту и перешедший под британский флаг, название которого

англичане сохранили; именно на нём предстояло увезти Розеттский камень.

— Осторожно, — сказал Жоффруа матросу, который поднимал один из его ящиков с банками, взявшись за один край. — Банки. Хрупкое.

Матрос перехватил ящик обеими руками, прикидывая равновесие, затем поставил его в шлюпку к остальным. Жоффруа больше ничего не сказал.

Его беспокоил трюм. Тёмный, сырой, плохо проветриваемый, отданный во власть толчков килевой качки. Банки со спиртом были самой серьёзной проблемой. Ящик, опрокинутый в бурю, не выдержавшая доска — и спирт разливался. Фонарь слишком близко — и начинался пожар. Он сказал об этом британскому капитану, и тот разрешил поместить самые хрупкие ящики в доступном месте на нижней палубе.

Жолуа последним сел в шлюпку. Он в последний раз взглянул на Александрию с уровня воды. Белые дома с плоскими террасами, минареты, цитадель, воздвигнутая на развалинах древнего Фароса, а за ними пустыня, долина Нила, уходящая на юг, все те памятники, мимо которых армия лишь прошла.

— Столько всего ещё осталось увидеть, — прошептал он.

— И всегда будет оставаться, — сказал Жомар, севший в ту же шлюпку.

Шлюпка отошла от набережной. Жолуа не обернулся. Он хранил перед глазами образ Александрии такой, какой она была в то утро, чёткой и светлой в сухом ноябрьском воздухе.

Устроившись на борту, он отказался оставлять свои медные тубусы в трюме. Он отнёс их в свою каюту — каморку в два метра на полтора в помещении младших офицеров, с парусиновой койкой и крюком в потолке. Двадцать три

тубуса, около пятидесяти килограммов. Он уложил их на полку над койкой и привязал верёвкой к крюку.

Первую ночь он почти не спал. При каждом движении корабля верёвка натягивалась, и тубусы тихо стукались о переборку. Он прислушивался к ним в темноте.

Жомар разместил свои ящики с картографическими съёмками по договорённости с первым лейтенантом, закрепив их верёвками у переборок, как артиллерийское снаряжение. Военный способ защитить от качки.

— Вам уже случалось перевозить ценные карты? — спросил его лейтенант.

— Нет. Но я видел, как вы крепите орудия.

Лейтенант согласился, что в этом есть логика.

На борту французские пассажиры, учёные и солдаты, и британские экипажи теснились в помещении, рассчитанном на две трети такого числа людей. Каждый держался своей территории — французы на носу и по левому борту, британцы в центре и по правому. Но в коридорах и на трапах они встречались по двадцать раз на дню, не обменявшись ни словом.

Учёные видели в этом прежде всего абсурд. Они возвращались во Францию на кораблях тех, кто только что отнял у них Розеттский камень и саркофаг Нектанеба II. Тот же флот, что потопил их собственный у Абукира.

Так Жолуа и написал вечером в письме, которое не закончил.

«Мы возвращаемся во Францию на судах наших победителей, с их пропусками в наших карманах, а Розеттский камень ждёт трюмов *„Эжипсьенн“*. Мы взяли Египет у египтян, они вновь отобрали его у нас. Камни уйдут в Лондон. Наши рисунки плывут в Париж в медных тубусах, которые я держу над своей койкой. Думаю, это различие будет иметь значение в долгосрочной перспективе».

Он перечитал, смял листок и выбросил его. Слова были не те. Он попытается найти их в *«Описании»*.

V – Переход

У Средиземного моря в ноябре бывали свои причуды. Уже на второй день поднялся северо-восточный ветер, и море разыгралось. Корабль начало сильно качать. Несколько учёных, непривычных к плаванию, провели первые дни, лёжа в своих каютах, — кроме Жомара, который спускался в трюм проверять свои ящики, и Жоффруа Сент-Илера, который ходил осматривать свои банки каждые два часа.

Жолуа оставался на палубе. Плавание сюда он перенёс без труда и за египетские месяцы выработал спокойное отношение к морю. Он наблюдал за волнами, облаками, переменчивым светом тем же взглядом, внимательным и непредвзятым, каким смотрел на памятники. К нему подошёл поговорить один из молодых британских офицеров.

— Что именно вы везёте в этих тубусах?

— Древний Египет.

Офицер посмотрел на него, не понимая.

— Рисунки, — пояснил Жолуа. — Обмеры памятников. Копии надписей. Всё, что я сумел задокументировать за более чем три года. Хватит на целые тома.

— Как энциклопедия?

— С картинками, — сказал Жолуа.

Офицер, по-видимому, удовлетворился и ушёл. Жолуа остался на палубе ещё на час, положив руку на мокрый от брызг фальшборт. Где-то за горизонтом пирамиды всё так же стояли на своём месте.

На пятый день ветер стих. Море вернулось к ровному движению. Учёные снова появились на палубе, ещё бледные,

но уже на ногах. Ещё до того, как показалась Мальта, каждый вернулся на своё место, к своим тетрадям, прижатым от качки локтем или чашкой.

Жомар работал над своими записями измерений, выискивая несоответствия. Несколько из них удавалось разрешить. Два не поддавались.

— Взгляните, — сказал он, положив свои тетради на фальшборт и придерживая страницу большим пальцем от ветра. — Основание пирамиды Хефрена несколько длиннее по оси восток–запад, чем по оси север–юг. Ненамного. Двадцать сантиметров на двести пятнадцать метров. Но это повторяется на всех трёх больших пирамидах Гизы.

— Ошибка ваших измерений?

— Возможно. Я думал об этом. Но я измерял каждую сторону трижды, мерной цепью, и все три раза…

— Так что же?

— Тогда расхождение намеренное. Строители будто бы учитывали меру земли. За века до того, как её… словом, до теории.

Жолуа долго смотрел на него.

— Опубликуйте это.

— Не сейчас. Это лишь гипотеза, не более. Нужно, чтобы Монж пересчитал. В Париже.

Монж вернулся во Францию вместе с Бонапартом ещё в августе 1799 года. А измерения путешествовали с Жомаром, в одном из его тубусов. Эта работа, опубликованная в томах *«Описания»*, будет обсуждаться и развиваться на протяжении десятилетий. В тот вечер на палубе Жомар был лишь молодым человеком, которому не спалось.

О чём Жомар не говорил — о чём он не сказал никому с самого отъезда из Александрии, — так это о том, что гипотеза пугала его настолько же, насколько воодушевляла.

Если строители пирамид знали меру земли, это означало, что нечто было утрачено — не забыто, а уничтожено, рассеяно, сделано недоступным. Двадцать веков завоеваний, грабежей, пожаров. Александрийская библиотека. Папирусы, которые солдаты Цезаря сожгли, не читая. Долгое равнодушие сменявших друг друга захватчиков к тому, что хранили стены.

Он достал из-под плаща тетрадь номер семнадцать, ту, что он отвёл для непроверенных гипотез. Он записывал в неё месяц за месяцем наблюдения, не поддающиеся непосредственному объяснению. Астрономическая ориентация храмов. Отсутствие малейшей погрешности в пропорциях великого храма Амона в Карнаке на протяжении пятисот метров. Расположение внутренних камер и галерей великих пирамид, оси которых, как ему казалось, отвечали расчёту, который он ещё не вполне восстановил.

Пирамиды были не только гробницами. Быть может, вовсе не гробницами, в том смысле, в каком это слово понимали во Франции. Они были инструментами. Машинами для измерения мира, для закрепления неба в камне, для передачи тем, кто придёт после, знания, которое папирус не мог гарантировать. Потому что папирус горит. Камень — меньше.

Он убрал тетрадь под плащ и снова застегнул воротник. Для сноски эта гипотеза была слишком обширной. Десять лет работы, не меньше. Ему было двадцать три года.

Настала ночь. Звёзды над Средиземным морем были менее яркими, чем над пустыней. Он поискал Орион и нашёл его низко над горизонтом, три звезды пояса слегка наклонялись к югу. Он смотрел на них, пока холод не заставил его уйти. В одном из своих тубусов, между двумя рулонами промасленной бумаги, он вложил небольшой листок,

сложенный вчетверо, на котором скопировал в Гизе точные размеры оснований.

На кормовой палубе Фурье писал. Он уже несколько дней искал начало исторического введения к *«Описанию»* — фразу, которая дала бы читателю понять, почему Египет важнее любой другой древней цивилизации. Трудность была не в материале, а только в тоне. Если он примет тон учёного, то потеряет образованного читателя, который хотел быть растроганным. Если примет тон оратора, то предаст строгость, которой от него ждал Институт.

Он исписал и порвал одиннадцать первых страниц. Все одиннадцать попыток спотыкались об одну и ту же ошибку. Он начинал с экспедиции. «19 мая 1798 года французская армия вышла из Тулона». Или же «Комиссия по наукам и искусствам, состоящая из ста шестидесяти семи членов». Верные формулы, которые обещали читателю отчёт, тогда как он хотел дать ему совсем иное.

То, чего он искал и не находил, — это слово, которое дало бы читателю понять, чем Египет отличается от всех других стран. Не красивее, не древнее в обычном смысле. Древний по-другому. Древность как физическое свойство воздуха, камня, реки. Ему предстояло уместить три тысячи лет истории в предисловии. А никто ещё не нашёл, как написать три тысячи лет.

— С чего начать? — произнёс он вслух, не то себе самому, не то Жомару, который его слушал.

— С того, что не меняется. С Нила. С ежегодного разлива. С времён года. Всё остальное — фараоны, династии, завоевания — преходяще по сравнению с этим. Начните с географии. Остальное придёт.

Фурье записал. Наконец у него было начало. Не география в техническом смысле, не широты и меридианы. География как форма мира, налагающая на людей свои ограничения.

Нил, который то поднимается, то спадает. Долина между двумя пустынями. Цивилизация как ответ на физическое ограничение. Это он мог написать.

Он начал двенадцатую страницу. На этот раз он не стал её рвать. Он написал три строки и перечитал их. Они держались. В третьей говорилось, что Нил проходит сквозь века, и века не проходят сквозь него. Ничего совершенного, но фраза была живой. Это было начало. Он продолжил.

Жоффруа Сент-Илер в те же дни писал заметки, из которых родятся его первые статьи о фауне Нила. Он работал в своей каюте, окружённый несколькими банками, принайтованными от качки. Запах спирта, в котором сохранялись животные, стоял в тесном пространстве.

— О чём вы думаете, когда пишете эти описания? — спросил его однажды вечером Жомар.

— О тех, кто прочтёт их через пятьдесят лет. Чтобы они увидели то, что видел я, ни больше ни меньше. Чешую, плавник, цвет, каким он был до спирта. Только то, что есть.

Сам того не заметив, он только что высказал свой девиз.

Утром 10 ноября корабль вошёл в гавань Валлетты. Учёные сошли на берег и небольшими группами бродили по улицам укреплённого города. Прошло чуть больше года с тех пор, как французский гарнизон под британским давлением покинул остров, и теперь «Юнион Джек» развевался над бастионами, на которых Жолуа видел трёхцветное знамя во время остановки в июне 1798 года.

— Три дня, чтобы его взять, — сказал Фурье, не сводя глаз с укреплений Валлетты. — Два года осады, чтобы его потерять. Как и всё остальное, примерно в той же пропорции.

Жолуа устроился перед конвентуальным собором Святого Иоанна и быстро набросал его строгий фасад. Не для *«Описания»*, которое касалось лишь Египта, а для себя самого,

повинуясь инстинктивному движению руки, которая разучилась оставаться праздной перед замечательным зданием. Рисунок занял двадцать минут. Когда он поднял глаза, Жомар стоял у него за спиной.

— Вы всё ещё рисуете, — сказал Жомар.

— Всегда. Иначе я не умею смотреть.

Вечером учёные собрались в трактире на ужин. Разговор зашёл о том, чем каждый намерен заняться по возвращении в Париж. Жоффруа Сент-Илер хотел вернуться на свою должность в Музее естественной истории. Фурье думал о своей кафедре в Политехнической школе. Марсель с ностальгией вспомнил Национальную типографию.

— А вы, Жолуа? — спросил Жоффруа Сент-Илер.

— Я? Я буду работать. Эти рисунки сами не выгравируются.

На рассвете 11 ноября корабль снялся с якоря и снова взял курс на северо-запад. Западное Средиземноморье, более прохладное и бурное, чем восточное море, своими серо-зелёными красками напоминало им покинутые берега Франции.

Во время этой последней части плавания — восемь дней от Мальты — учёные каждый день собирались в большой каюте, чтобы обсудить *«Описание»*. Кто что напишет. В каком порядке. Сколько будет томов.

— Это *«Описание»* должно стать энциклопедией, — сказал Фурье. — Не несколько таблиц с пояснениями, а всё, что мы видели, измерили, наблюдали. Памятники, география, естественная история, современное общество. Не менее двадцати томов.

— Эти таблицы будут безупречны или их не будет вовсе, — сказал Жолуа. — Лучшие гравёры Парижа, сколько понадобится времени. Один изъян — и начинаем заново.

Жомар хотел полный географический атлас, первые точные карты всей долины Нила. Жоффруа требовал почётного места для естественной истории. Марсель думал об оттисках с Розеттского камня.

Каждый думал о том, что останется от него. Жомар на носу корабля поднял глаза от своих тетрадей. Берег был ещё не виден. Он подумал об измерениях в своих тубусах, которыми через сто лет кто-нибудь воспользуется, не зная его имени. Он послюнил карандаш и вернулся к своему столбцу цифр.

17 ноября, ясным осенним днём, на горизонте наконец показалась Франция — сначала тёмная низкая линия, затем, по мере приближения, очертания мысов и холмов. Франция. Они не произнесли ни слова.

18 ноября на рассвете корабль вошёл в прибрежные воды Прованса. Осенний свет на море был не таким, как в восточном Средиземноморье, — более бледный, более рассеянный, без той плотности, какую он имел в Египте.

— Этот свет, — сказал Жолуа Жомару. — Это Франция.

Берег приближался. Теперь можно было различить известняковые скалы, бухточки, первые рыбацкие дома.

— Мы возвращаемся, — сказал Жолуа.

В этом слове были облегчение, сожаление и вся ожидавшая их работа. Жомар не ответил. Ни тот ни другой не верил, что Египет был лишь отступлением, которое теперь закрывалось.

VI – Возвращение во Францию

Корабль встал на якорь на тулонском рейде 19 ноября 1801 года, через три года и шесть месяцев после отплытия французской эскадры из того же порта в мае 1798 года. Обстоятельства возвращения контрастировали с

обстоятельствами отплытия. Вместо флота из четырёхсот кораблей, перевозивших тридцать восемь тысяч солдат, несколько британских судов доставляли остатки разбитой армии.

Сначала пришлось выдержать карантин, обязательный для судов, приходивших из Леванта, который на этот раз сократили. Затем учёные сошли на берег в Тулоне. Франция изменилась. Они — ещё больше.

Жолуа вышел из лазарета и ступил на тулонскую набережную. Мокрый, холодный камень. Запах соли и дёгтя. Чайки, кричащие над портом.

Он остановился, пропуская остальных вперёд. Он не стал целовать землю. Он смотрел на набережную, на здания, на холм над городом, на серое небо. Воздух был холодным и влажным — средиземноморский холод ноября, ничуть не похожий на сухой холод египетских ночей. Он вдохнул его полной грудью и ждал, пока тело вспомнит.

Ящики — рисунки Жолуа, коллекции Жоффруа Сент-Илера, эстампажи Марселя, инструменты, рукописи — были подняты из трюмов под их присмотром.

Вечером они собрались в портовом трактире.

— За Египет, — сказал Жолуа.

Фурье в свою очередь поднял бокал.

— За тех, кто оттуда не вернулся.

Они выпили. Никто ничего не добавил, и все рано легли спать.

На следующее утро портовые власти прислали офицера для официальной регистрации ящиков. Он был молод и ничего не знал о Египетской экспедиции, кроме того, что писали о ней парижские газеты. Он строка за строкой изучил транспортные накладные, дважды пересчитал ящики и указал склад близ набережной.

— Эти предметы составляют научное достояние Республики, — сказал ему Фурье тоном, не терпящим возражений. — Они будут отправлены в Париж под охраной как можно скорее. Позаботьтесь, чтобы склады были сухими и надёжно запирались на ключ.

Офицер поклонился и исполнил приказ. Фурье, сам того не замечая, вернул себе тон парижского чиновника, нетронутый под трёхлетней пылью.

После полудня несколько учёных расположились в кабинете морской префектуры, под портретом Первого консула, лак на котором ещё не успел высохнуть, чтобы составить свои первые доклады для министерства внутренних дел. Эти доклады должны были засвидетельствовать, что Комиссия по наукам и искусствам выполнила свою миссию, что её коллекции сохранились в целости в той части, которая была спасена, что работа над изданием может начаться. Фурье твёрдой рукой написал главный доклад, упомянув о потерях, понесённых по вине британцев, лишь в фактической заметке в приложении.

— Оставим политику тем, кто ею воспользуется, — сказал он, не поднимая пера. — Мы излагаем, что мы сделали и что привезли. Остальное — дело историков. И дипломатов.

Жомар, читавший через его плечо, кивнул. Ему было двадцать три года, и заметка в приложении не вызывала у него никаких возражений.

Последние часы в Тулоне ушли на бланки, подписи, оттиски печатей — Египетскую экспедицию поглощали обычные каналы бюрократии Консульства.

Писарь, регистрировавший ящики Комиссии, обращался с ними как с грузом муки или шерсти. Деревянные ящики — вот всё, что он видел. Жолуа некоторое время наблюдал за ним, затем повернулся к Фурье.

— Вот так цивилизации хранят свою память, — сказал он. — В реестрах, которые никто не читает.

Фурье улыбнулся. Шутка была верной, и на этом же принципе держалась его надежда, что *«Описание Египта»* переживёт режимы и войны. Его занесут в каталоги, опишут в инвентарях, его будут изучать учёные, которые никогда не слышали ни о Фурье, ни о Жомаре, но будут читать их слова.

На следующее утро они отправились в Париж.

Путешествие длилось почти две недели, включая остановки, по главной дороге, которая поднималась долиной Роны, а затем выходила в Бургундию. Учёные ехали в общественных дилижансах, а их драгоценный багаж следовал в повозках под охраной.

Ещё в Александрии они знали, что во Франции сменился режим. В дороге они увидели тому приметы. На почтовых станциях объявления теперь печатались с шапкой Консульства, и никто больше не говорил о Директории.

В Авиньоне перед дилижансом ждала толпа. Люди спрашивали о сыновьях, братьях, мужьях, о которых ничего не слышали три года. Фурье сошёл и терпеливо отвечал. Он знал не обо всех.

Эта сцена запомнилась ему сильнее, чем пирамиды. Среди ждавших была женщина лет пятидесяти с миниатюрным портретом в руке. Она ни о чём не спрашивала. Она просто смотрела на лица сходивших солдат. Фурье отвёл глаза.

Проезд через Лион стал поводом для двухдневной остановки. У нескольких учёных в этом краю были семьи или друзья, и они воспользовались ею для импровизированных встреч. Фурье, чей бывший учитель Бонар жил в Осере, несколько в стороне от дороги, ограничился письмом из Лиона, в котором сообщал, что не сможет его навестить и что скоро будет в Париже.

Жолуа же воспользовался этими двумя лионскими днями, чтобы посетить знаменитого гравёра, чью работу он видел до экспедиции. Он хотел узнать, можно ли привлечь этого человека к изготовлению таблиц для *«Описания»*.

— Вот образцы, — сказал Жолуа, раскладывая на столе в мастерской несколько своих альбомов.

Гравёр долго рассматривал рисунки с лупой в руке, проводя ногтем по некоторым линиям. Иероглифические строки требовали предельной точности, в барельефах были оттенки глубины, трудно передаваемые в плоской гравюре, а общие виды храмов требовали владения перспективой, какой владели не все гравёры.

— Это серьёзная работа. Я могу за неё взяться. Но мне понадобится время. Много времени.

Жолуа посмотрел на руки гравёра. Широкие, твёрдые, с мозолями в тех самых местах, какие оставляет только резец. Руки, не похожие на его собственные, — ведь он рисовал там, где эти руки будут гравировать. Этому переходу от одного движения к другому им предстояло учиться вместе. Сам он всё ещё плохо его понимал.

— Время у нас есть, — сказал Жолуа. — Чего у нас нет, так это права делать кое-как.

Они договорились об основных условиях. Жолуа записал имя в свою тетрадь и подчеркнул его. Этот лионский гравёр был именно тем, кого он искал.

Вечером, возвращаясь в трактир, Жолуа застал Фурье в общей зале.

— Бонапарт нас бросил, — сказал он. — А теперь… теперь он использует нашу работу для своей славы.

Фурье подождал, пока им подадут вино, и лишь тогда ответил.

— Без него мы никогда бы туда не попали. И именно он может оплатить *«Описание»*. Нужно держать в уме и то и другое.

В Лионе Жолуа купил в книжной лавке экземпляр собственной переписки с Институтом, изданной в его отсутствие. Книготорговец его не узнал. Читать свои египетские письма во Франции было странно — словно другой человек пережил всё это и отчитывался перед ним издалека. Он узнавал слова, но не совсем голос. Его слог стал прямее, меньше заботился об эффектах.

— Я уже не тот человек, что отплыл из Тулона в мае девяносто восьмого, — сказал он Жомару в дороге.

— Нет, — сказал Жомар, помолчав. — Никто.

Въезд в Париж через предместье Сент-Антуан совершился в сумерках. В воспоминаниях Жолуа город был больше. Он идеализировал Париж за месяцы в Египте, превратив его в символ всего, чего ему недоставало. Теперь город поражал его прозаической цельностью — те же улицы, те же запахи, те же повозки на мостовой.

— Париж всё тот же Париж, — пробормотал Жолуа, выходя из дилижанса.

— Издалека едете, сударь? — спросил кучер.

— Из Египта.

— А, — сказал кучер. — Говорят, там красиво.

— Больше, чем красиво. Но это… надо вернуться, чтобы узнать, чего это стоит.

Было 8 декабря, и прибытие прошло скромнее, чем хотелось бы некоторым. Ни парада, ни официального приёма, ни речей. Армия Востока вернулась побеждённой, и у консульского правительства не было причин праздновать капитуляцию. Бонапарт уже воссоздал свою легенду без Египта. В официальных речах кампания

превратилась в великодушный эпизод, акт научного интереса, которому пришлось уступить обстоятельствам, а не в военное поражение.

Жолуа предоставил спутникам разойтись и один вернулся к себе на улицу Сен-Доминик. Его семья, предупреждённая письмом из Тулона, велела снова открыть ставни квартиры. Он вошёл, положил пальто, сел в кресло, где привык читать. В камине горел огонь. Тепло на лице было мягким, ровным, тепло горящих дров, не имевшее ничего общего с египетским.

Всё стояло на своих местах. Библиотека, картины, письменный стол. Три года Египта, а здесь ничто не сдвинулось с места.

Он взял с полки чистую тетрадь, первую попавшуюся, и написал в начале первой страницы «Декабрь 1801 года — Работы начинаются.» Затем пошёл спать.

Встречи состоялись в последующие дни, по мере того как распространялась новость. Родители, друзья, прежние коллеги. Каждому хотелось рассказов. Правда ли пирамиды так велики, как утверждают путешественники? Выносима ли жара? Правда ли было так страшно, как давали понять письма?

Жолуа подбирал рассказы к собеседникам. С родителями он умалчивал о сражениях и болезнях. С друзьями-учёными вдавался в подробности памятников. С остальными держался удивления и чудесного. Он открывал в себе это искусство менять рассказ в зависимости от слушателей, которым, как он думал, не обладал и которое пригодится ему для *«Описания»*.

— Ещё больше, — отвечал он тем, кто расспрашивал его о пирамидах. — То, чего нельзя вообразить, слухи всегда преуменьшают.

Эта фраза принесла ему несколько недоверчивых взглядов и несколько приглашений на ужин к парижанам, жаждавшим услышать о его приключениях. Он принимал их, рассказывал, всякий раз с чувством, что слова предают опыт. А Египет ждал в медных тубусах с залитыми воском пробками, сложенных у стены его кабинета, когда его переведут в гравированные таблицы.

В один из таких вечеров он заснул с этой мыслью. Настоящий труд ещё не начинался. Он продлится почти тридцать лет.

Когда встречи остались позади, учёные взялись за организацию работы.

15 декабря Фурье был принят Бонапартом в Тюильрийском дворце. Коридоры были широкими и холодными, тепло каминов не доходило до приёмных. Бонапарт ждал его в кабинете, стоя, как всегда. Фурье представил проект издания. Бонапарт, понимавший политическую выгоду от прославления своей экспедиции, несмотря на военную неудачу, выслушал его не перебивая и благосклонно принял проект.

— Хорошо. Публикуйте, — сказал Бонапарт. — Я делаю из этого государственный проект.

Дело пойдёт быстро, быстрее, чем надеялся в тот день Фурье. Консульское постановление от 6 февраля 1802 года определит, что государство полностью оплатит подготовку и печать *«Описания Египта»* как приоритетного национального проекта. 18 февраля министр Шапталь назначит редакционную комиссию в составе Бертолле, Монжа, Конте, Фурье, Костаза, Деженетта, Жирара и Ланкре, каждый из которых будет отвечать за свою часть, причём Фурье оставит за собой историческое предисловие. Конте станет её генеральным комиссаром от правительства; Жомар, Жолуа и Девилье вскоре присоединятся к ней.

Фурье, назначенный в том же году префектом департамента Изер, весной уедет в Гренобль.

Пока же учёным предоставили кабинеты в правительственном здании в Париже и средства на оплату профессиональных гравёров, вспомогательных рисовальщиков, секретарей-переписчиков.

Жолуа посвятил конец декабря приведению в порядок своих тысяч рисунков — первому этапу перед гравировкой. За неимением достаточно больших столов он разложил их на полу и распределил по памятникам и по типам. Общие виды, архитектурные детали, барельефы, иероглифические надписи, планы, вертикальные разрезы.

— Без этой классификации, — объяснял он помощникам, — мы потеряем недели, разыскивая нужный нам рисунок.

Вместе с Конте, которого все уже называли будущим генеральным комиссаром, он начал отбирать лучших парижских гравёров по меди, чтобы поручить им тонкую работу по воспроизведению своих рисунков. Он встречался с каждым кандидатом, рассматривал образцы его прежних работ и подолгу обсуждал требования к качеству, которые предъявит.

Первые контакты обнаружили непредвиденную трудность. Эти превосходно обученные мастера умели воспроизводить оригинал в любом условленном стиле. Но рисунки Жолуа и его товарищей не принадлежали ни к какому стилю. В них была свобода штриха, торопливость, плодотворная неточность, которую академическая гравюра не умела передать.

— Вам придётся воспитать свой глаз, — сказал Жолуа одному из них, который только что выправил профиль фараона. — Эти условности — не неумелость. Гравёр, не понимающий, почему египетское лицо нарисовано так, станет его исправлять. И наделает грубых ошибок.

Это займёт больше времени, чем предполагалось. Жолуа вернул доску гравёру, не идя на уступки.

Фурье со своей стороны продвигался в работе над историческим предисловием. Он принял тон учёного размышления, взвешивал каждую фразу, многие вычёркивал. Он хотел, чтобы *«Описание»* было больше, чем иллюстрированный каталог, — актом мысли, сопоставимым с *«Энциклопедией»*, который сказал бы потомкам, что Франция поняла в Египте и что Египет говорил о Франции.

Декабрь 1801 года прошёл в этих кабинетах и мастерских. Никто из учёных тогда не мог знать, что двадцать три тома *ин-фолио «Описания Египта»* будут завершены лишь в 1829 году.

Заседание 19 декабря в Институте Франции стало первым официальным собранием Комиссии по наукам и искусствам после её возвращения. Фурье тщательно подготовил созыв, собственноручно написав каждому ещё живому члену — около тридцати погибли в Египте — с приглашением в большой зал Института.

Их было около шестидесяти, съехавшихся со всей Франции. Некоторые не виделись с самой Александрии. Руки пожимали чуть дольше, чем нужно, глазами искали тех, кого не было.

Фурье председательствовал на собрании, напомнил о выполненных работах, трудностях, потерях, зачитал имена умерших коллег, затем изложил план издания *«Описания»*, финансирование, обещанное Первым консулом, предварительный график.

— Эта работа потребует времени. Может быть, десять лет. Больше — расчёт ненадёжен, я переделывал его несколько раз. Каждого из вас привлекут к его части. То, что мы начали в Египте, мы завершим здесь, в наших кабинетах и библиотеках.

Жолуа, сидя среди собравшихся, думал о своих медных тубусах, обо всех этих рисунках, ждавших гравировки. В Египте он сделал лишь половину работы, не больше.

Последняя неделя декабря ушла на составление первого общего доклада Комиссии по наукам и искусствам министру внутренних дел. Этот доклад в девяносто две страницы содержал опись того, что Комиссия совершила, что привезла и что предполагала издать.

Основную часть написал Фурье, часть о древностях — Костаз, естественнонаучную — Жоффруа Сент-Илер, часть о языках и рукописях — Марсель. Документ, сдержанный и точный, произвёл впечатление на министра, который передал его Бонапарту с благоприятной запиской.

Бонапарт, следивший за состоянием коллекций с самого своего возвращения два года назад, вызвал Фурье на рабочую встречу. Он хотел, чтобы *«Описание Египта»* стало не только научным, но и политическим памятником, прославляющим его восточный поход. Одно не исключало другого, но лавировать придётся осторожно.

— Мы будем служить науке, — сказал Фурье Конте, выходя. — А Первому консулу позволим думать, что мы служим его славе. Такова обычная цена великих трудов, или почти такова.

Конте улыбнулся. С самого начала экспедиции он не слышал ничего более точного об их положении.

Бонапарт принял доклад с неподдельным интересом. Некоторые стороны экспедиции действительно его трогали — пирамиды, Розеттский камень, храмы Фив. Несколько месяцев спустя он с увлечением прочтёт *«Путешествие»* Денона и будет рассказывать о нём близким.

— Ваш Денон хорошо пишет, — скажет ему Монж. — Для учёных это редкость, и я первый охотно в этом признаюсь.

Его страницы о пирамидах — лучшее, что я читал, а уж читал я, видит Бог, немало!

— Он видит то, что описывает, — оборвёт его Бонапарт. — Художник. Не меньше, чем учёный.

В течение следующего года Бонапарт дал Денону знать, что у него есть для него замысел, не вдаваясь в подробности.

Для учёных, работавших над *«Описанием»*, мысль о том, что Денон может получить высокий пост, была доброй вестью. У них появился бы высокопоставленный собеседник, осведомлённый и благожелательный.

Финансирование было щедрым, но не безграничным, и учёным вскоре пришлось столкнуться с экономической реальностью монументального издания. Гравёры стоили дорого, печать крупноформатных таблиц ещё дороже, качественная бумага тоже.

Конте, ставший генеральным комиссаром от правительства, искал экономию в самой гравировке. Он придумал машину, которая выполняла фоны, небо и массы памятников, оставляя гравёрам тонкую работу. Она позволяла сдерживать расходы и выигрывать немало времени.

Денон со своей стороны договорился с одним парижским издателем о выпуске своего *«Путешествия по Нижнему и Верхнему Египту»* отдельным томом, до коллективного *«Описания»*. Вышедшее уже в 1802 году, оно поддержит интерес публики и подготовит почву для восприятия *«Описания»*.

— Мы публикуем в два приёма, — объяснял Денон. — Сначала моё *«Путешествие»* — для широкой публики. Потом *«Описание»* — для учёных. И для вечности, если она соблаговолит.

Назначение Денона генеральным директором Центрального музея искусств, объявленное консульским постановлением в ноябре 1802 года, стало неожиданностью

как для него самого, так и для его коллег по Комиссии. Бонапарт принял это решение после того, как прочёл *«Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту»*, и после нескольких бесед с Денoном об искусстве и коллекциях.

Этот пост, которого он не добивался, ставил Денона в самое сердце противоречия. Как директор музеев он будет надзирать за приобретением произведений искусства из стран, завоёванных наполеоновской империей. Он станет центральным звеном политики систематического грабежа, свидетелем которой был в Египте — свидетелем критическим и бессильным.

Он всё же согласился. Он полагал, что с этой должности сможет влиять на то, как составляются и представляются коллекции, отстаивать науку, а не триумф.

Это противоречие не ускользнуло от него. Он записал его в дневнике в трёх сухих строках. Затем переключился на другое.

Последующие тринадцать лет станут самыми плодотворными в его жизни — более оседлыми и более административными, чем те, что он только что прожил, но не менее требовательными. Руководство музеями Франции потребует выносливости, сравнимой с той, какой потребовала экспедиция. Он взял шляпу и вышел пройтись вдоль набережных.

VII – Работа начинается

Жомар жил на улице Круа-Фобен со времени возвращения. Комната, холодная зимой, выходила на север, но в ней стоял большой стол, на котором он разложил свои листы с измерениями.

Уже год, как он вернулся, и всё это время он переписывал, сравнивал, исправлял. Его топографические съёмки теперь занимали двести листов разлинованной в клетку бумаги, от

Дельты до Асуанских порогов. Самая точная карта Египта из всех, что когда-либо были начерчены.

Он вычислял высоту Великой пирамиды — сто сорок шесть с половиной метров. Строители пользовались точной единицей измерения, и эту единицу, полагал он, теперь можно было восстановить. Он опубликует её значение в 1817 году — 0,462 метра для локтя. Египтологам придётся его исправить. Царский локоть равен 0,5236 метра, и в Великой пирамиде их около двухсот восьмидесяти.

Он думал и о Суэцком канале. Бонапарт его замышлял.

Лепер, главный инженер, совершил чудовищную ошибку. Он заключил, что Красное море почти на десять метров выше Средиземного, а потому канал невозможен без шлюзов.

Жомар уже сомневался в этих цифрах, не имея возможности это доказать. Доклад Лепера будет опубликован в самом *«Описании»*.

Эта ошибка обойдётся почти в полвека — до тех пор, пока Бурдалу в 1847 году не повторит измерения и не покажет, что оба моря почти на одном уровне, а Фердинанд де Лессепс не выроет канал за десять лет.

В тот вечер Жомар смотрел на карту Нила. Каждый изгиб русла снят буссолью и теодолитом, каждая деревня, каждый храм. Долина тянулась на десяти листах с севера на юг с такой точностью, что инженер мог бы предсказать, куда пойдёт вода, если построить плотину.

Век спустя британские инженеры, которые построят первую Асуанскую плотину, всё ещё будут сверяться со съёмками Жомара.

В тот вечер он записал в дневнике одну-единственную фразу. «Весь этот труд — для того, чтобы инженеры следующего века могли управлять водой народа, которым мы не сумели управлять».

Из двухсот листов сто десять ещё оставалось переписать начисто, прежде чем Комиссия сможет начать печатать первый том *«Описания»*.

Октябрь принёс первые настоящие трудности работы.

Самая глубокая из них касалась иероглифов.

Жолуа осознавал это каждый вечер, перечитывая заметки за день. Вместе с Девилье он нарисовал сотни колонн с надписями в Карнаке, в Луксоре, в Долине царей. Они копировали их с точностью гравёра, знак за знаком, не понимая ни одного. *«Описание»* опубликует эти колонны, на которые будут смотреть тысячи читателей, и никто не узнает, что в них сказано.

Поделать с этим ничего было нельзя. Пока нельзя.

Марсель сказал это без обиняков на одном из октябрьских заседаний.

— Мы не умеем их читать. Вот и всё. Поэтому мы их копируем — в точности, — а в остальном держимся строго описательного стиля. То, что мы видим. А что это значит… найдут другие.

«Описание Египта» вначале было идеей Фурье — или почти так. Клебер поддержал замысел, Бонапарт приказал издавать, Конте руководил исполнением, рисовальщики поставляли изображения. Но именно Фурье первым понял, чем должна быть эта книга, — энциклопедией целой цивилизации, какой её застали.

Он будет годами писать историческое предисловие в гренобльской префектуре. Плотный синтез всего, что было известно о Египте со времён греков.

Объём изображений был головокружительным. У Жолуа и Девилье были свои альбомы, у Дютертра, Денона и Сесиль — свои. У Жомара было двести листов съёмок, у Жоффруа

— сотни таблиц по зоологии и ботанике, у инженеров — архитектурные планы каждого посещённого памятника. Всего восемьсот девяносто четыре таблицы, из них около шестидесяти цветных. Работа потребовала порядка четырёхсот гравёров на протяжении двадцати лет и десятков рисовальщиков, многие из которых участвовали в экспедиции.

Таблицы были столь велики, что ни один парижский печатный станок не мог их оттиснуть. Конте — тот самый Конте, что делал карандаши в Египте, — до своей смерти в 1805 году придумал машину для гравирования фонов и небес, которую его преемники и пустили в дело. Были построены новые станки. Некоторые таблицы занимали почти квадратный метр. Потребовались специально изготовленные листы бумаги. Над иными таблицами приходилось работать по два года.

Первый том вышел в 1809 году. Последний — в 1829-м. Двадцать три тома, отпечатанные на веленевой бумаге. Коммерческое издание Панкука будет выходить с 1820 года в тридцати семи томах.

Фурье увидит выход первых томов, а затем и законченного труда. Он умрёт в 1830 году.

«Описание Египта» создало египтологию как дисциплину. Оно задокументировало памятники, ныне разрушенные, краски, ныне стёртые, места, ныне разграбленные. Оно позволило одному французскому учёному выработать свой метод дешифровки. То, что Франция действительно сохранила от Египта, — это сто шестьдесят семь умов и восемьсот девяносто четыре таблицы, которые они создали. То, что она украла — и слово это было точным, каково бы ни было оправдание, — находилось в Лондоне. Статуи в Лондоне, знание в Париже.

Утешение было немалое.

Остальные трудности — согласованность таблиц разных художников, стандартизация названий памятников — были решены рабочими процедурами, которые Комиссия выработала по обычному методу Фурье, ясному, практичному, пригодному к немедленному применению. Каждую таблицу сверяли с размерными съёмками. В качестве официальных названий приняли современные арабские, а древнегреческие давали в скобках.

Жомар предложил правило для названий. Комиссия его приняла.

В ноябре Жолуа и Девилье приступили к составлению пояснительных текстов. Каждую таблицу должен был сопровождать текст с указанием местонахождения, размеров, состояния сохранности и вероятной династической атрибуции.

Жолуа написал тексты о главных храмах Фив, которые он исследовал вместе с Девилье. Его проза, кое-чем обязанная зарождавшемуся романтизму, перемежала измерения отрывками, в которых ещё звучало то, что он испытал перед этими памятниками.

Его описание Карнака начиналось с размеров. Ограда Амона площадью около двадцати пяти гектаров, сто тридцать четыре колонны в гипостильном зале, двенадцать центральных колонн высотой в двадцать один метр. Затем одна фраза. «Впечатление, производимое этим лесом колонн, подобно впечатлению от пространства, где человеческое величие и божественное величие сливаются воедино».

Фурье вычеркнул фразу. Жолуа её восстановил.

Фурье перечитывал в Гренобле тексты, которые доставляла ему почта, и вычёркивал лирические места. Жолуа их восстанавливал. Фурье вычёркивал снова.

— Мы занимаемся наукой, — писал Фурье на полях, уже глядя на следующую страницу. — Не литературой.

— Наукой о чём? — отвечал Жолуа обратной почтой. — Эти памятники были построены, чтобы производить впечатление. На того, кто на них смотрит. Без этого впечатления мы просто каталогизируем камни.

Ни тот ни другой не уступил, и оба тона остались в *«Описании»* бок о бок, порой на одной и той же странице.

Фурье жил в префектуре Изера, в Гренобле, в нескольких днях езды дилижансом от Комиссии.

Он думал о Бонапарте, оставляя в стороне его тщеславие и честолюбие, которым он давно перестал противиться. Этот человек затеял экспедицию, изменившую то, как Европа смотрела на Египет, изменившую то, как сам Фурье смотрел на историю, и он, вероятно, мало что об этом знал. Для Бонапарта Египет был военной ошибкой, исправленной удачным государственным переворотом. Для Фурье он на всю жизнь останется самым насыщенным периодом из всех, что он знал.

Те, кто творит историю, подумал он, и те, кто её понимает… Он искал между ними соотношение и не нашёл.

Он остановился на набережной, у берега Изера. Молодой человек продавал газеты на холоде. Он купил одну, не читая, и пошёл дальше.

На улице Круа-Фобен Жомар всё ещё работал. Калька в конце концов покрыла весь большой стол, а тетради громоздились на полу. В тот вечер он готовил листы для карты, которую Жакотен, начальник инженеров-географов, составит для атласа *«Описания»*. Долина Нила простиралась на восемь градусов широты, но никогда не превышала двадцати километров в ширину. Проекция Бонна, принятая для этой карты, сохраняет площади и почти не искажает

расстояний вблизи центрального меридиана. Она подходила для этой узкой плодородной полосы.

Он провёл первый меридиан. Затем параллели. Затем устье Нила на севере, у Розетты. Затем течение реки к югу с её излучинами, которые он знал наизусть, промерив их за три года.

Карта обретала форму. На холоде чернила сохли плохо.

Была полночь, когда Жомар положил перо. Он задул лампу, вместо того чтобы дать ей погаснуть самой, — привычка, оставшаяся от Египта, где масло стоило дорого, — и некоторое время сидел в темноте. Двадцать четыре года. Он видел пирамиды, храмы Фив, пустыню, сражение, капитуляцию, измерил то, чего до него никто не измерял.

А теперь он чертил карту в холодной комнате.

Сожаления он не испытывал. Он вспомнил Абдаллу, *вакила* канала, для которого учение никогда не кончалось, потому что и канал никогда не переставал меняться. Урожай был собран. Оставалось молотить зерно — по ночам, неспешно.

Жоффруа Сент-Илер в своём кабинете в Музее писал Кювье. Они были друзьями, а соперниками станут лишь позже. Письмо просто излагало то, что он считал истиной.

Он описывал ему мумифицированных ибисов Саккары, крокодилов Нила, кошек Бубастиса. И поверял ему то, что установил за египетские месяцы. Эти животные трёхтысячелетней давности ничем не отличались от своих живых потомков. В этом Кювье и он были ещё согласны.

Жоффруа изменит своё мнение, и Кювье будет с ним бороться. Их спор вспыхнет открыто в 1830 году перед Академией наук. Он станет одним из важнейших в европейской естественной истории. Но до этого было ещё далеко в декабре 1802 года, в его кабинете в Музее, над письмом человеку, которого он любил и противником которого станет.

Он запечатал письмо и на следующее утро отправил его по почте.

Египет продолжал издалека воздействовать на тех, кто прошёл через него.

В декабре министерство внутренних дел уведомило Конте, что расходы превышают предусмотренное. Гравёры поглощали сорок процентов бюджета. Качественная бумага — двадцать. Сократить, не жертвуя качеством, было невозможно. Конте сказал об этом министру. Министр ответил, что посмотрит.

Он посмотрел. Средства были сохранены. *«Описание»* продолжилось.

Жомар как-то в другой вечер достал заметки о Фаюме. Ирригационные съёмки, которые он ещё не переписал для *«Описания»*. Каналы, расходы воды, чередование сакий. Он провёл там две недели, измеряя то, что феллахи знали, ни разу этого не записав. Гидравлическая система, столь же древняя, как фараоны, целиком хранилась в головах людей, которые пользовались ею с детства. Он записал её, перевёл в минуты и расходы, оформил так, чтобы инженеры следующего века могли её прочесть. Другого способа её спасти он не видел.

Он долго сидел с раскрытой тетрадью на коленях. В Фаюме те же быки, вероятно, ходили по своим кругам.

В конце декабря мемуары четырёх частей труда — «Древности», «Современное состояние», «Естественная история» и «География» — готовились одновременно. Направление было намечено, команды расставлены.

Вечером 31 декабря 1802 года Жолуа отложил карандаш и посмотрел на медные тубусы, выстроенные вдоль стены его кабинета. Двадцать три медных тубуса, пронумерованных чёрной краской. В тубусе номер один — его самые старые альбомы, Александрия, переход через пустыню, первые

виды пирамид. В номере два хранилось продолжение пути, в номере три — съёмки Фив и Долины царей. В последнем — последние рисунки, сделанные в Александрии в сентябре. Он встал, взял тубус номер один, отвинтил крышку. Вынул первый альбом. Тот раскрылся на беглом наброске. Палуба корабля, паруса и флот на заднем плане, нарисованные во время плавания в мае 1798 года. Четыре года назад. Он закрыл альбом, завинтил крышку. Поставил тубус обратно к стене.

За окном Париж заканчивал год в привычном шуме большого города. Перезвон колоколов, голоса, колёса экипажей по мёрзлой брусчатке. Через несколько часов 1802 год станет 1803-м. *«Описанию»* будет год. Потребуется ещё двадцать шесть.

Он дал лампе догореть и вышел на улицу. Некоторое время он шёл без определённой цели, в сухом холоде парижской ночи. На углу улицы Гренель он остановился и поднял глаза. Небо было чистым. Орион был там, над крышами, ровно там, где он видел его над пирамидами зимой 1798 года.

Он стоял, задрав голову, пока холод не сковал ему пальцы.

Он вернулся домой, сел за стол, открыл чистую тетрадь. В верхней части первой страницы он написал дату. Затем, ниже. «Храм Карнака, гипостильный зал. Центральные колонны, 21 метр. Диаметр, 3 метра 50. Папирусовидные капители».

Он вновь взялся за текст.

Бонапарт же не стал ждать. Первый консул с брюмера VIII года, консул пожизненно в 1802-м, император французов в 1804-м. Человек, сказавший каирским учёным, что их труд переживёт его, строил нечто более амбициозное и более хрупкое — режим. *«Описание Египта»* выйдет при Империи. То, чем экспедиция была на деле — шаткой, неполной,

дорогостоящей, — становилось в официальном повествовании основанием национальной славы.

Для Денона, в Лувре, работа только начиналась. Походы должны были возобновиться. Австрия в 1805 году, Пруссия в 1806-м. А вместе с походами — коллекции.

Конец второго тома